

Девочке в шаре всё нипочём

1

Ночью мы танцуем на крыше.

Попасть туда несложно, всегда есть кто-то, кто впустит в подъезд. Схема проста и срабатывает без осечек. Сначала мы скромно стоим на крыльце, Будда жмёт кнопки домофона, и на маленьком экране вспыхивают алые цифры. Дребезжит механическая трель, из динамика раздаётся: «кто там?» Дальше мой выход. Голосом примерной девочки жалуясь, что потеряла ключ. Щёлкает замок, и мы проскальзываем в едкие запахи чужой парадной. Шумно набиваемся в тесный лифт, чуть приплясываем от нетерпения. Кабина ползёт на последний этаж, поскуливает и дрожит. Всякий раз опасаемся, что застрянем, потому что нас слишком много. Каша хихикает и нарочно подпрыгивает, а Спринга голосит, чтобы он перестал. Потому что Каша – сокращённое от «Кашалот», и веса в нём больше, чем во мне и Спринге вместе взятых.

Кашалот гребёт отсюда,
За спиной кипит волна,
Он - большое чудо-юдо,
И не умный ни фига.

Это Спринга придумала. Она милостиво держит Кашу то за прислугу, то за ручного ярмарочного медведя. Ей подходит его обожание. Спринга привыкла быть на виду, потому что яркая: кожа нереально белая, почти сияет, а короткие волосы выкрашены в рыжий. Имя - от английского «спринг», что значит «весна» - она выбрала сама, как и подобает королеве. А Каша стал Кашалотом ещё в начальной школе. Сначала обижался, но бороться с прозвищами настолько трудно, что легче привыкнуть. Он и привык. Всё-таки это лучше «жирдяя» или «свинины».

Сейчас Каша неизменно катится за Спрингой надувным мячиком – сколько хочешь бей, отскочит и вернётся. Это что-то вроде спектакля: им нравится разыгрывать мелодраму, а нам – наблюдать. Мы всё время играем. Изображаем рок-звёзд, потерянных детей, упавших ангелов. И лучших друзей. Мы и есть лучшие друзья, но стараемся стать вроде тех, что из голливудских фильмов.

И только танцуя на крыше, мы просто танцуем на крыше.

Лифт дёргается, останавливается и с облегчением выпускает нас на лестничную клетку десятого этажа. Теперь надо тихо, крадучись, чтобы жильцы не затеяли скандал и

не вызвали милицию. Первым в чердачный люк лезет Будда, потом Спринга, Каша, Чепчик и Джим.

С Чепчиком всё просто, его фамилия Чепликов. Он дружит с Кашей крепче, чем с остальными, и попал к нам из-за него. Чепчик любит музыку Цоя, ходит будто в трауре, как и другие киноманы. Говорит, что загадочно и хронически болеет, от этого костлявость, тёмные круги вокруг глаз и растресканные кроващие губы. Чепчик - вылитый вампир, но не страшный, а немного комичный.

Джим совсем другой, прозвали его в честь Джима Моррисона. Только длинные смоляные волосы нашего красавчика не ложатся на плечи волнами, а выются мелким бесом. Это от армянской бабушки или татарского деда, от еврейского прадеда, или ещё от кого. Родословная у Джима до того пёстрая, что с наскака не разобраться. Его маму зовут Румия, она доктор замудрёных математических наук, а русский папа - профессор биологии. Джим в своих берцах, драных джинсах и в толстовке с красной буквой «А» мог бы сойти за позор семьи, но он отличник и умница, а его вселюбовь ко всему миру способна крушить звёзды. Наверное, именно от этой вселюбви он замечает меня чаще других, и когда мы лезем на крышу, оборачивается и подаёт руку.

Я бы хотела, чтобы ладонь мне протянул Будда. Я – его тень, это все знают. Без него я никто. Так что, я – Никто. А Будда – всё.

Будда не предложит мне руки ни сейчас, ни потом. Он достаёт из рюкзака барабанные палочки и усаживается на тёплый, чуть пружинистый битум плоской крыши. Мы здесь не впервые, припрятали жестяную банку из-под краски за кирпичным воздуховодом. Будда ставит её перед собой и начинает настукивать нехитрый ритм. Аккуратно, чтобы не потревожить жильцов. Но этого глуховатого «дун-дун-тудун-дун» нам достаточно.

Я не помню, кто и почему это придумал – танцевать именно так. И, наверное, не очень правильно говорить, что мы танцуем ночью, но «поздним вечером» - не звучит. К тому же над нами и вокруг непроглядное сентябрьское небо, а в нём - гроздь белых созвездий и почти полная луна.

Мы – чёрные силуэты на фоне чуть более жидкой темноты. Не говорим, не поём, не смеёмся. Просто двигаемся, рвано подёргиваемся, подчиняясь палочкам Будды и помятой жестянке. В этом есть что-то первобытное. Мерный стук и беззвучные взмахи руками. А он, мой шаман, сидит, чуть ссутулившись, наклонив голову так, что длинные светлые пряди падают на глаза и щёки. Я точно знаю, что лицо его ничего не выражает, но при этом он улыбается.

Будда часто улыбается сам себе и редко говорит. И я тоже. Это объединяет нас, мы молчим не порознь, а вместе. Но если меня легко не замечать, то он всегда в центре. Войдя в комнату, вы сразу посмотрите на Будду, и даже если повернётесь спиной, будете чувствовать его присутствие. Возможно, вы разглядите и меня, но вряд ли. Мне это безразлично. Я давно привыкла сливаться со стенами и наблюдать из-под неровной мышастой чёлки.

Моя чёлка – моя броня. Это как тёмные очки или капюшон толстовки для других. А мне нравится так. Вроде ничего особенного - несколько прядей на глазах, но с ними никто не достанет и не заденет.

- Ослепнешь! – время от времени цепляется Ма. – Не хочешь постричь, хоть подкалывай.

«Не твоё дело», - думаю я.

2

Когда меня спрашивают о родителях, очень редко, потому что обычно вообще ни о чём не спрашивают, так вот, когда невозможно увильнуть от ответа, я говорю: «Отец – начальник, мать – грустная женщина». Похоже на шутку или глупость, но на самом деле это правда. Что тут ещё обсуждать?

Родители Спринги – обычные гопники. Классические: дом, гараж, огород, толстые зады, тряпки в стразах, куча такой же родни и попса вперемешку с шансоном. Спринга острит, что это свинское семейство - наказание за её грехи в прошлых жизнях. Жизней, видимо, было много: за одну невозможно так сильно накосячить.

Про Джима я, кажется, рассказывала. У Каши только мама, похожая на карикатурную шпалоукладчицу. У Чепчика не знаю кто, а родители Будды – добрые люди. Сейчас они в Нигерии, или в Уганде, ищут воду с другими сердобольными волонтерами. Вообще-то они оба фотографы, иногда писатели и ещё чёрт знает кто.

- Идиоты, прости-с-споди! – неизменно ворчит бабка Будды, пытаюсь навести хоть какой-то порядок в его замызанной однушке. Хорошо, что не часто, а только пару раз в неделю, когда наезжает с любимой дачи заботиться о внуке. - Шаболды. Бросили пацана, как будто в шестнадцать он сам себе хозяин. Конечно, мне-то нетрудно присмотреть, даже в удовольствие через весь город с кастрюлями таскаться и тряпкой тут махать! Волонтеры, блин. И этот дебилом растёт, трусы с носками постирать не может. Ты меня слышишь-

нет?! Сколько я буду одно и то же талдычить? Хоть посуду помой! Или вон девка твоя пусть помое!

На слове «девка» она кивает в мою сторону. В ответ бросаю быстрый осуждающий взгляд: только совершенно безмозглое существо может поставить Золотого Будду Шакьямуни в один ряд с какими-то носками и грязными тарелками. А ему всё равно, лежит на диване, заложив руки за голову, на голове - наушники, в наушниках – безумные гитарные записи.

Будда отрешённо смотрит в потолок, чуть шевелит губами, и я мечтаю выскользнуть из вытертого кресла, подойти и тихонько прикоснуться к его губам своими. Только он не захочет, никто не захочет целоваться с пустым местом. Поэтому заставляю себя отворачиваться. Стискаю книжный переплёт, плююсь в нагромождение строчек. «Степной волк» Гессе. Не текст, а каменоломня какая-то. Будда прочитал, а я не могу, продираюсь через каждое предложение со скрипом и скрежетом. Стыдно, я ведь не тупая.

- Вот тоже подружку нашёл до пары, рыбу перемороженную, - вздыхает бабка. – Не дом, а кунсткамера, сил моих нет!

И дальше в том же духе. Она, в общем-то, не злобная, просто ограниченная, как большинство взрослых. Переваливается уткой из комнаты в кухню, из кухни в ванную, из ванной снова в комнату, и так по кругу. По сути, вся её жизнь – унылое ковыряние в пыльных углах отдельно взятой квартиры. Так ей и надо. Затхлые дни, плоские мысли, каркающий голос, больная спина и варикозные ноги - только её вина.

Мы никогда не станем такими. Потому что танцуем на крыше, ценим настоящих свободных людей и не оглядываемся на остальных. Другие просто не существуют, зато наших мы безошибочно узнаём в любой толпе.

Наши собираются на Колесе или в Мелином переулке. Меля – один из старичков, ветеран армии АлисА. Лет десять назад, в начале девяностых, когда я, Спринга, Каша, Чепчик, Джим и Будда ходили в первый класс, он зажигал красные факелы на концертах Легенды, а во время стрелок на заброшенном аэродроме знатно ломал кости рэперам и гопникам. Так рассказывают. В это несложно поверить, глядя на его мощное квадратное тело, на перебитую сплюснутую переносицу и бритый череп. Я видела Мелю вблизи на нескольких сейшенах, где все мы сбивались в потную пульсирующую массу под вопли местных хардрокеров. Один раз он даже навёл на меня мутные колющие глазки и спросил:

- Ты кто?

- Никто, - ответила я.

- Хорошее имя – Никто.

Мелин переулок – узкий замусоренный тупик. Его не так просто отыскать, если не знаешь потаённую низкую арку между двумя пафосными сталинками. Тесно и укромно – самое то для маленькой компании. Орать здесь не хочется, душа просит чуть расстроенного гитарного бренчания и светлой тоски: «Панихида по апрелю состоялась в сентябре – плакали трамваи на изгибах рельсов...»

Или «Маленькую девочку со взглядом волчицы», или «Грибоедовского вальса». А поорать можно и на Колесе, то есть в сквере у круглого фонтана. Там нас много, там только и делай, что плети кружева, перетекая от скамейки к скамейке, сплетничай, хохочи так, чтобы шарахались прохожие. Джинса, хаки и кожа, берцы с белой шнуровкой и гриндерсы с титановыми носами, цепи и заклёпки, серьги и бисерные феньки, ошейники панков и плетёные хайратники хиппи, сальные патлы всех цветов радуги. «Сдохни серость!» - вот как называется этот праздник.

Ма твердит, что мой восторг пройдёт, и братство наших покажется унылой толпой лоботрясов. Что у меня юношеский максимализм. От её бесконечного нытья охота на стенку лезть. Потрясающее равнодушие. Я не устаю удивляться: до чего надо быть деревянной, чтобы всё списывать на какую-то вымышленную ерунду. Говоришь, что в школе не учат, а оболванивают? Это максимализм. Считаешь взрослых лицемерами? И это максимализм. Сходишь с ума от того, что вокруг много людей, но не с кем поговорить? Тоже максимализм. Видишь в зеркале уродину? Опять максимализм. Не хочешь превратить свою жизнь в скучное болото? Всё это максимализм. Каприз. Чушь. Плевать на тебя.

Нет уж, вам придётся на нас смотреть.

Мы хлопаем в ладоши, вскидываем кулаки, оттопыривая указательный и мизинец, повторяем припевы до хрипоты, упиваемся друг другом. Это мы часами спорим о природе Бога и собственном предназначении. Мы декламируем Бодлера и Ницше по памяти, пусть самые затасканные строчки, но с чувством и расстановкой. Мы поём в тамбурах электричек и для забавы срываем стоп-краны. Мы танцуем на крыше и крадём в секундах.

Завозы нового тряпья в секунды отслеживает Спринга. Она объявляет об очередном таком пополнении, когда мы заканчиваем с танцами и рассаживаемся на карнизе. Если бы случайный прохожий посмотрел вверх, мы бы показались ему горгульями. Вроде тех статуй на готических храмах. Но люди редко поднимают головы и разглядывают крыши, особенно по вечерам. Даже не редко – никогда.

- Тётка моя рядом с секондом живёт, она знает, - поясняет Спринга.

- Затаривается там? – лениво тянет Каша.

- Вроде того. Говорит, что в эти магазины привозят гуманитарку – дармовые шмотки, которые европейцы собирают для нищих. Хлам, короче. А у нас его продают. Берут старье просто так, а сбывают за деньги. Нормально?

- Ничего удивительного, - хмыкает Джим.

- Ну да. А ещё продавщицы хорошее себе забирают, а продают остатки. Сплошной обман. Давайте завтра их накажем.

Почему бы и нет, всё равно делать нечего.

Говорят, что воровать грешно, но мы ведь не всерьёз. Просто играем. Стаскиваем в примерочные ворох одежек, надеваем вещь за вещь, одну на другую, пока не становится слишком заметно. Морщусь от химического запаха дезинфекции, торопливо запихиваю в рюкзак чёрный свитер крупной вязки для Будды и бочком выхожу на улицу. Можно закрыться в туалете соседнего кафе, снять лишнее и вернуться в секунд за добавкой, но я уже взяла, что хотела.

Я сразу понимаю, сколько брать. Спринга наоборот, не успокоится, пока не обшарит все полки, вешалки и корзины. Каша забалтывает унылую тётку на кассе, чтобы его леди могла спокойно порыться в цветастой куче. Джим с Чепчиком болтаются у входа, а Будда сидит на лестнице и слушает плеер, постукивая пальцами по колену. Я раскрываю рюкзак и показываю ему сегодняшний трофей. Будда чуть улыбается и предлагает один наушник. Теперь мы сидим рядом, соединённые тонким проводом и голосом Легенды. Боже, сделай так, чтобы Спринга стала ещё медлительнее. Или останови время.

Вечером музыка ревет из магнитофона на полную громкость, и мы её перекрикиваем. Я наблюдаю, как Будда распарывает крупные петли чёрного свитера. Маникюрные ножницы поблескивают в жёлтом свете настольной лампы, нитки ползут, полотно зияет длинными прорехами. Потом в ход идут булавки. Будда выуживает их из бабкиной швейной коробки и стягивает свежие дыры, создавая замысловатый металлический узор.

У меня тоже есть одна. Достāju булавку из мочки уха и протягиваю ему. Он осматривает свитер, прикидывая лучшее место, закалывает горловину. Будда доволен, и я почти счастлива.

Без железки уху легко и непривычно, рука то и дело тянется потрогать голую мочку. У своего подъезда останавливаюсь, чтобы вынуть булавку, как делаю это каждый вечер, но нахожу только пустоту.

Жаль, что дома пустотой и не пахнет - отца нет, но есть Ма и её подруга Инна. Инусик. Судя по скорбному выражению лица, Инусик снова работает жилеткой, в которую Ма то плачет, то сморкается: тяжело быть женой начальника, особенно второй, особенно если увела его от первой, приманив беременностью.

Семейное придание гласит, что отец безумно хотел дочку и ради неё, то есть меня, оставил двух сыновей. Сводные старшие братья, очень старшие, знают, что я есть, но на этом всё. Не то чтобы они совсем не интересуются, просто со мной слишком трудно общаться. Ма подтвердит. Она может много чего рассказать под настроение, которое случается всякий раз, когда отец задерживается на работе. В такие дни до Ма доходит, что если человек бросил одну семью, то вполне может уйти из другой. А кто виноват? Правильно, разочарование имени меня.

- Здраваться не надо? – интересуется Ма, когда я сбрасываю обувь в прихожей и крадусь мимо кухни. Она выглядит спокойной, но уже на старте. – Где была?

- Гуляла.

- С кем?

- С Буддой и Спрингой.

- Это собачьи клички? – вклинивается Инусик. – Кокер-спаниелей выгуливаешь?

Смотрю из дверного проёма. Похоже на картину в раме: последний год двадцатого века, холст, масло, бытовая сценка: «Поздний ужин гламурных куриц в интерьере хай-тек». Глаза у них блестят от коньяка, рты испачканы жирной помадой, а может, лоснятся из-за сырокопчёной колбасы. Её алые кругляши с белыми сальными крапинками лежат веером на большой тарелке рядом с оливками, дольками лимона и надкусанным шоколадом. Почти такие же алые, как ногти Инусика.

«Но женщины - те, что могли быть как сёстры, - красят ядом рабочую плоскость ногтей», - сказал Великий. И это верные слова, правдивые. Наши не врут, тем более в песнях. Значит, врут другие.

- Тётя Инна, - говорю, - отгадайте загадку.

- Зачем?

- Отгадайте, - терять мне нечего, Ма по любому закатит полуночную истерику на абстрактную тему. - Тётя Инна, что легче разгружать: вагон с брёвнами или вагон с мёртвыми людьми?

- Кошмар какой! – кривится Инусик. - Ну тебя!

- Легче разгружать, - гну своё, - вагон с мёртвыми людьми. А знаете почему?

- Тебе сказали, хватит! – рычит Ма.

- Потому что можно использовать вилы. Вилы. Здорово, да?

Я совершенно серьёзна, ни намёка на усмешку. Пусть думают, что мне такое нравится, пусть поджимают губы от отвращения и не лезут больше. И они отвязываются. Ма зудит, что меня подбросили цыгане. Обычно они крадут детей, но я настолько чудовище, что даже им не пригодилась.

В ванной снимаю балахон и мешковатые брюки, не глядя заталкиваю их в стиралку. Потом до упора выворачиваю краны. Шум воды перекрывает взрослое нытьё. Из зеркала смотрит никто. Отдувает чёлку, захватывает в горсть тусклые русые лохмы, приподнимает на манер вечерней причёски. Если выпустить длинные пряди по обе стороны от лица, нос кажется меньше. Но всё равно слишком длинный и острый. Губы тонкие, глаза выпуклые, светлые, никакие. Постричься коротко – будет некрасивый мальчишка. С широкими плечами, узкими бёдрами и плоской грудью. В пятнадцать могло бы уже что-то вырасти, но нет.

«Чего ты жалуешься? Стройная, гибкая, спортивная. Кожа – мечта. Волосы густые, только уложить бы нормально. Вот зачем ты грызёшь ногти, сутулишься и мерзкое тряпье на себя цепляешь? Нарочно ведь прикидываешься гремлином!» - временами возмущается Ма.

«Иди к чёрту», - всякий раз молчу я.

Забравшись в тёплую воду, думаю о Будде. Чуть шевелю пальцами, воображаю, что перебираю его шелковистые светлые волосы, сидя рядом на старом диване. Глаза мои закрыты – в комнате Будды темно, и только отблески автомобильных фар иногда вспыхивают в оконном стекле. Он ровно дышит во сне, и моё собственное глубокое

дыхание отдаётся в ушах. Я охраняю одиночество Будды, излучаю невидимое силовое поле, которое мягко отталкивает весь остальной мир. Через него не пробиться вопящему соседскому дошколёнку, голосу Инусика в прихожей, хлопанью двери, шаркающим по линолеуму тапкам, обеспокоенным выкрикам Ма, которая требует открыть или хотя бы отозваться. Сколько могу делаю вид, что не слышу, надеюсь на скорый приход отца. При нём она нежна и улыбчива, воркует горлицей, ластится котёнком. Но, как видно, не судьба, придётся выходить и принимать на себя её страхи и обиды.

- Что ты там делала? – подозрительно спрашивает Ма.

Кладу мокрое полотенце на батарею:

- А ты как думаешь?

- Почему не отзывалась?

- Вода шумела. Дай пройти. Я спать, завтра вставать рано.

- Завтра выходной.

- У меня дела.

- Какие?

- Разные.

- Что, трудно сказать? – заводится Ма. – Прямо как твой папаша! Шляетесь не пойми где, а передо мной отчитываться не надо! Так, да? Я тебя спрашиваю!

Отвечать не обязательно, ей это не нужно. Укладываюсь, закрываю глаза и стараюсь не слышать бубнёж про гада-отца и мою неблагодарность. Мне всё равно, я не умею обижаться. И ничего не боюсь. Самое худшее уже случилось: я здесь, и я – это я. Намного легче, когда я становлюсь - мы.

Мы танцуем на крыше ночью, шатаемся без дела днём, а по утрам собираем бутылки. Это не развлечение, у нас есть цель.

Я, Спринга и Каша бродим в скверах и подворотнях, осматриваем остановки, набиваем большую спортивную сумку стеклянным золотом. Иногда сталкиваемся с бомжами, но нас это не смущает. Кто первый нашёл, тот и взял, таков закон джунглей. Стрематься глупо, деньги лежат под ногами и, как известно, не пахнут. Хотя, эти очень даже пахнут. Ну и ладно.

Бомжи не просто пахнут, они воняют до рези в глазах. Если такой не стремится увести у нас тару, а валяется грязным кулем в кустах, ни за что к нему не подойду. И

Спринга обойдёт десятой дорогой. Но Каша всякий раз подлезает, расталкивает и предлагает помощь.

- Дай сто грамм, нутро горит, похмелиться надо, - сипит очередной оборванец.

- Нету у меня. Может, вам скорую вызвать? – дружелюбно улыбается Каша. Его щекастое сдобное лицо становится до невозможности простодушным, но глаза всё равно беспокойные, жёсткие. Бомжу плевать на Кашины глаза и резоны. Он продолжает клянчить:

- Хоть глоток дай, будь человеком.

- Нету, говорю.

- А чё ты меня тогда будил?

- Спросить. Помощь нужна?

- Иди ты... спаситель, блин.

Каша горестно качает головой и топает дальше. После обеда он отволочёт бутылки на пивзавод, где сладостный аромат солода перебивает шершавый запах опадающей листвы. Там пустая тара волшебным образом превратится в купюры, которые станут билетами на концерт. Недостающую сумму я потяну из сумочки Ма. Это впервые, может, и не заметит.

В прошлый раз обошлись без билетов, влезли в здание цирка через хлипкое окошко что в пристройке. Прокрались в темноте между шумно дышащими, чавкающими, шуршащими звериными клетками, пропитываясь тяжёлой животной вонью, сломали расштанную задвижку на двери и выбрались-таки в холл. Теперь заветное окно надёжно укрыто решёткой, а другого пути в обход контроля мы не нашли. Поэтому пойдём как все, через главный вход.

В день концерта наши подкатывают к цирку пенистыми волнами и вливаются в стеклянные двери ярким голосащим потоком. Подозрительные личности предлагают дешёвые флаеры, почти не стесняясь ментов, а те с каменными лицами пасутся неподалёку. Мы для них – мусор, клоуны – так они говорят. Но сегодня мы в своём праве.

Тётки на входе по сорочьи выхватывают билеты, стараясь не прикасаться к рукам, украшенным татуировками, браслетами, перчатками с обрезанными пальцами, затейливыми перстнями и чёрным когтистым маникюром. Они боятся нас и поэтому смотрят угрюмо. Мы широко ухмыляемся в ответ, заполняем холл, и движемся, течём звенящей толпой. Нас – сотни, мы – одно.

На круглой арене выставлен и отстроен аппарат, в воздухе висит ровный гул возбуждённых голосов, переходящий в радостный вопль при появлении музыкантов. Они

берут с места в карьер, первыми же мощными аккордами сотрясая стены. Каждая песня всё сильнее сжимает нас в тугую пружину. Солист трясёт гривой потных волос, гитаристы ходят кругами, высоко задирая грифы, их пальцы бегают по струнам с огромной скоростью, от барабанщика вот-вот повалит дым.

Мы продираемся к невысокому бортику арены, туда, где колышется разгорячённая толпа. Могучий Каша раздвигает джинсово-кожаные спины, прокладывая путь. Множество глоток выкрикивают слова, и мы вопим с ними. Кода, сумасшедшая барабанная дробь, последняя звенящая нота. Я стиснута между Буддой и Джимом. Я – бенгальский огонь, я – центр вселенной. Я не чувствую времени.

Зал ревёт и успокаивается лишь с началом новой песни. Теперь софиты не взрываются красным, они медленно гаснут, и лишь несколько острых лучей плывут во мраке, высвечивая притихшие лица. Щёлкают зажигалки, в дымном воздухе парит щемящий струнный перебор.

- Пойдём, потанцуем, - говорит Джим.

Я оглядываюсь на Будду:

- Джим зовёт танцевать.

Тот лишь слегка пожимает плечами. Джим тащит меня вперёд, его чёрные глаза мерцают, когда он оборачивается. Я не успеваю подумать и вообще что-то понять. Пара шагов, бортик арены, и вот мы стоим рядом с музыкантами. Наши кричат, хлопают, свистят. Джим кладёт ладони мне на талию, они обдают жаром. Я обнимаю его за плечи, и мы медленно кружимся.

«Делай свободный полёт, делай со мной,

Если захочешь, я буду тебе войной,

Если попросишь, я научусь воскресать для того, чтобы снова увидеть тебя».

Ещё до припева на арене появляются охранники. Мы не сопротивляемся, но Джиму заламывают руки.

- Эй, полегче! - кричит в микрофон солист.

Охранники провожают нас до служебного выхода пустыми гулкими коридорами.

- Иду в поход, два ангела вперёд, один душу спасает, другой тело бережёт, - дурачится Джим, поглядывая на конвоиров.

Мне хочется прыгать и смеяться. А когда, уже на улице, он напевает про колокольчик в моих волосах что звучит соль-диезом, думаю о Будде и усаживаюсь на скамейку. Я буду ждать его и остальных, хоть и холодно. Джим зовёт бродить по городу, расписывает

уютный голубоватый запах костров во дворах, но я отрицательно качаю головой. Тогда он снимает косуху и набрасывает мне на плечи. Укрывает красным шарфом. Торжественно вручает свежесорванную рябиновую гроздь и заявляет, что я прекрасна. Он болтает без умолку, и мне спокойно.

7

После концерта домой не тянет. Уже стемнело, мы бредём под фонарями, сами не зная – куда. Наши разбрелись по флэтам, на Колесо или в Мелин переулок, а мы топаем себе как заведённые.

Будда впереди на десяток шагов, чёрный кожаный плащ распахнут, руки в карманах. Он часто так делает – идёт один. И наверняка чуть улыбается, заново прокручивая музыку в голове. Мы позади – я, Джим, Каша, Спринга и Чепчик. Спринга рассказывает про какую-то Эмани, которую встретила в туалете цирка, и которая только что вернулась из Крыма. Каша перебивает, говорит, что давно пора рвануть к морю автостопом или электричками. Я смотрю на спину Будды, но навязчиво чувствую Джима левым плечом. Слева теплее. Это странно.

Три гопника обгоняют нас возле рыбного магазина «Пеликан». За ними тянется алкогольный душок и матерная невнятица, на которую привычно не обращаем внимания. Но когда они догоняют Будду, я слышу звук удара – громкий обжигающий шлепок. Трое идут дальше, а Будда сгибается пополам, прижимая руку к лицу.

Я срываюсь на бег. Он отводит ладонь, по подбородку течёт кровь. Фонари вспыхивают, и я слепну от ярости. Гадёныши сделали это просто потому, что могли, за плащ, берцы и длинные волосы. Походя, без причины и даже повода. Но никому не позволено так поступать с Буддой! С любим из нас!

Джим хватает меня за локоть, но не может удержать. Ноги несут, косуха слетает с плеч.

- Ты, урод! – кричу я, догоняя троих.

Они останавливаются, успевают развернуться лишь на половину, а я уже в прыжке. Бросаюсь на центрального, раздираю ногтями, пытаюсь добраться до глаз. Он высокий, сгребает сильными ручищами, отшвыривает. Падаю, встаю, снова бросаюсь. На этот раз застать врасплох не удаётся, он держит меня, дышит перегаром и кричит:

- Заберите свою припадочную, или я её вырублю!

Джим на ходу снимает с бедра увесистую цепь. Но меня больше не накрывает, я перегорела.

- Пусти, - говорю.

- Успокоилась?

- Пусти.

На щеке гопника багровые полосы. Кровь за кровь, этого хватит. Мы расходимся без продолжения. Наши не любят драк.

Будда утирает рот тыльной стороной ладони и небрежно закуривает, словно ничего не было.

- У тебя кровь,- говорю.

- Да ладно, - отмахивается он.

- Надо лёд приложить, - авторитетно заявляет Спринга, и Каша предлагает зайти в магазин, попросить на время пачку мороженого или упаковкупельменей. Только всем понятно, что продавщицы пошлют куда подальше, а денег, чтобы купить, у нас нет.

- Мой папаша рядом живёт, - неуверенно подаёт голос Чепчик. – Можно к нему.

Выражение лица у Чепчика страдальческое, такое бывает при обострении гастрита. Ну, когда мой обостряется, я вижу в зеркале нечто похожее.

- А он кто? – спрашивает Джим. – Папаша твой?

- Так... временами нормальный, но иногда в дурке лечится. Я с матерью живу.

Наши не лезут в дебри долгих объяснений, это нудно. Да и понятно всё, чего размазывать. Поэтому от папашы Чепчика мы ждём худшего, но приятно удивляемся, когда он оказывается мировым чуваком по прозвищу Тим Саныч.

Живёт Тим Саныч в одной из тех сталинок, что охраняют Мелин переулок. Мы сотни раз ходили мимо, а сейчас впервые по-хозяйски вваливаемся в подъезд. И просить никого не надо, потому что Чепчик знает код домофона. Правда, вместо того, чтобы подняться по лестнице на первый жилой этаж, мы спускаемся в подвал, оступаясь на кривых ступенях - Тим Саныч обитает в цоколе.

- Андеграунд в лучшем виде, - иронизирует Джим.

- Так можно и ноги переломать, - жалуется Спринга.

Она не поклонница тяжёлых брутальных ботинок или несолидных кед. Спринга всегда на высоких каблуках. Джинсы, короткие юбчонки, растянутые майки, мужские

рубахи или балахоны с фото Легенды - не важно, главное - каблучки. Жаль, что мы учимся в разных школах, интересно посмотреть, как она выкручивается с физкультурой. Уж туда на шпильках точно не пустят.

Как раз собираюсь спросить об этом, но Чепчик решительно колотит в деревянную дверь, покрытую отвратной коричневой краской. Дверь распаивается почти сразу, словно нас ждали. Потом Тим Саныч расскажет про систему оповещения, которую придумал сам: хитроумное переплетение невидимой лески на лестнице и приделанные к ней велосипедные звонки в квартире. Изменённые, специально отлаженные на прикосновение к подъездным растяжкам.

Тим Саныч смеётся над этим своим чудачеством, но его светло-коричневые (почти в цвет двери) глаза остаются встревоженными. Зрачки бегают, как взбесившиеся часовые маятники. Он оглаживает бородку-эспаньолку, часто поправляет продолговатые очки, облизывает яркие мясистые губы и говорит, что иногда за ним охотятся, неважно кто и почему, но надо беречься. Замечает туфли Спринги, просит поднять штанину и долго восхищается стройной лодыжкой. «Аристократически тонкая кость», - говорит он. Ахает от восторга, глядя на кудри Джима, пожимает руку Каше, восклицает, что у Будды взгляд святого с иконы, предлагает мне стул, и только Чепчик остаётся на обочине. Хотя, нам всё равно, мы про него забыли.

Вместо кухни у Тим Саныча закуток с плитой, зато в большой комнате есть и стол, и стулья. Незаметно появляется белоснежная скатерть, а на ней куча еды. И вот мы уже сидим, внимая хозяину и обалдело оглядывая застеклённые шкафы с книгами, аквариум с богомолами и шёлковое японское кимоно, распятое на стене. Мы оживлённо болтаем о Легенде, втайне мечтая, чтобы Тим Саныч всех нас усыновил. Или удочерил. В общем, забрал к себе жить. Потому что он - мировой чувак. Мы спорим, цитируем, горячимся, даже Будда, и только Чепчик отмалчивается. Время от времени он ноет, что пора уходить, и слышит наше «щас» или «ещё пять минут». Тим Саныч смотрит на сына с сожалением, картинно вздыхает и отворачивается. Нас это не касается. Мы только начали обсуждать рассказы Хармса, те, которые про маленьких девочек.

- Такое в школе не учат, - усмехается Тим Саныч.

Уже в дверях Будда протягивает ему старинную монету, что держал у разбитой губы вместо льда.

- Оставь себе, - разрешает Саныч.

- Нет, - упирается Будда.

- Тогда вернёшь в следующий раз. Например, завтра.

Завтра будет завтра, а сегодня нужно пробраться домой без лишнего шума, чтобы полночи не слушать нотации Ма. Замок как назло заклинивает, долго проворачиваю ключ, вздрагивая от скрежета и щёлканья. В квартире тихо и темно, только за стеклянной дверью родительской комнаты слабо светится телевизор. Ма не выпрыгивает с яростным криком и не изображает надрывные рыдания в подушку. Похоже, разнос откладывается до утра.

Не успеваю переодеться, как в спальне появляется отец.

- Жива-здорова? – интересуется он.

- Вроде того.

- Когда закончился концерт?

- Давно.

- А ты пришла только сейчас.

- Точно.

Я в упор смотрю на него. Отец ещё в спортивном костюме, значит, не ложился. И Ма наверняка не спит, но раз он дома, пусть сам пообщается с ребёнком. Беда в том, что отец не умеет наводить мосты с такими как я. Хоть и старается. Просто не знает, о чём говорить, чтобы не выглядеть занудным ящером. В свои немного за пятьдесят он отчаянно молодится: бегают в спортзал, красит волосы, подолгу выбирает модные, но неброские шмотки, и надо сказать, здорово сохранился. Но моё слишком юное и невыносимо дерзкое лицо моментально уничтожает все его усилия. Он старый, я тому подтверждение. Очень-очень старый. Мне его иногда жаль, но самую малость.

- Где ты была? – ровным тоном спрашивает отец.

- Не знаю.

Всё, тупик. Дальше либо смириться с тем, что я сильнее, либо нападать. Отец вздыхает. Он устал. Трёт переносицу, откашливается и делает ещё одну попытку:

- Мама очень переживает, когда ты задерживаешься.

- Когда ты задерживаешься, она переживает ещё больше, - спокойно замечаю я.

- Знаешь, мне всё-таки уже не пятнадцать.

- Вот именно.

Он понимает, к чему я веду, но не хочет это обсуждать. Можно расслабиться, вопросы закончились. На сегодня. А завтра мы снова топаем к Тим Санычу, чтобы порыться в его книгах и потрепаться на околофилософские темы.

Мы танцуем на крыше, дружим с Санычем и боготворим Легенду.

Тим Саныч не разделяет наших восторгов, но раздобыл где-то пластинки с первыми песнями гуру. И другие тоже. Сам он любит Жанну Агузарову, а у меня пломбы в зубах вибрируют, так высоко она забирает, когда поёт.

Иногда мы гасим свет, и Саныч заряжает в проигрыватель классику. Не мажорные вальсики и прочие легкомысленные поскакушки, а серьёзный глубокий звук. Чтобы органские низы давили на затылок, а скрипки тянули из нас жилы.

Это почти так же классно, как диафильмы в детстве: есть особая магия в тёмной комнате, в растянутой на стене простыне, в потрескивании проектора и летящих в жёлтом луче пылинках. И у Саныча что-то похожее – вертится пластинка, шипит, подкашливает, а вместо простыни и картинок – музыка. И ничего ей не мешает.

- И я буду делать музыку, - говорит Чепчик как-то вечером на крыше, – я уже неплохо лабаю на басу, и тексты пишу.

- Гы-гы-гы, - комментирует Спринга.

- Ну а чё, - заступает за друга Каша, - будем на его концерты в окошко лазить. Ты, Чепа, главное, не пой.

Спринга хохочет в голос. Её высокий чистый смех летит в тёмное небо. Сегодня облачно, звёзд не видно, а крыша поблескивает после короткого вялого дождя.

Мы сидим кружком, подсунув под себя рюкзаки. Только Будда взгромоздился на жестянку, по которой с час назад отстучал обычное «тум-тум-тудум». Спринга замолкает, чиркает спичкой, и Джим тихонько затягивет про то, что лиц не видно, виден лишь дым за искрами папирос. Он здорово поёт, но с гитарой так и не подружился – дальше трёх аккордов и баррэ дело не пошло.

- Петь надо Джиму, - говорю я. – Чепчик, возьмишь его к себе?

- Нет, - Джим грустно улыбается, - будущее рок-звезды мне не светит. Последний год школьной каторги, а потом в МГУ, родители уже решили.

- Подумаешь, - фыркает Спринга, - ты же не решил.

- Да я не против. Поеду в Москву, погляжу, с чем её едят.

Он поворачивается ко мне, будто это и моё дело. Пожимаю плечами, но Джим продолжает смотреть. Чего надо-то?

- А ты? – спрашивает он.

- Не знаю, - говорю. - Отец хочет на юридический засунуть, посмотрим. А, может, с Буддой в Африку подамся.

Будда свято верит, что торчит тут из-за школы. Вот закончит, и добрые люди заберут его к себе. Обязательно заберут.

- Не вопрос, - лениво отзывается Будда, и я расплываюсь в благодарной улыбке.

- Ничего у вас не получится, - хихикает Спринга, - туда на троллейбусе не добраться, только с пересадками.

- Автостопом поедем, - Будда задумчиво крутит в пальцах барабанную палочку. – Или авиастопом. Хочешь с нами?

- Да ну. Я - в Питер. Буду снимать про вас авторское кино.

- Ну конечно, авторское, - пытается отыгаться Чепчик. – Сама-то знаешь, чем оно отличается от обычного?

- Как бы тебе объяснить, Чепа, чтобы ты понял? – Спринга высокомерно щуриться и чуть надует ярко покрашенные губы. – Это когда похоже на простое кино, но твою роль играет злобный карлик.

- Очень смешно.

- А Кашу исполнит дрессированный тюлень.

Каша не отвечает и не смотрит на нас. Он уже на пороге шараги что выпускает слесарей и сварщиков, и готов вкалывать до потери сознания. Отец его умер пару лет назад. Вышел утром на остановку, чтобы ехать на работу, и упал. Лежал там до обеда, у прохожих под ногами, но все думали – пьяный. Поэтому Каша и носится с бомжами. И старается матери помогать, говорит, что она только с виду ломовая лошадь, а на самом деле еле спину разгибает. А тут ещё малая – сестрёнка Кашина, ей всего пять. В общем, надо впрягаться и тащить семью, не до фантазий.

Мы то презираем Кашину покорность, то чувствуем себя глупой школотой рядом с ним. Но по большому счёту всё равно: это его заботы, а у нас – великое будущее.

Мы – люди нового тысячелетия, это что-нибудь да значит. Не просто следующего века, ты-ся-че-ле-ти-я, которое уже на подходе. Избранное поколение. Правда, мы ничего не умеем и даже не представляем, что именно нужно уметь, но это неважно. Всё устроится само собой. Р-р-раз, и благодарное человечество готово целовать наши ноги.

А пока нам не принадлежит весь мир, довольствуемся своим городом. И плевать, что он не золотой под небом голубым, главное, что не тесно.

Лысый – это центральная точка города - памятник Ленину на главной площади. А ещё – «писающий мальчик», потому что одну руку вождь тянет в сторону Главпочтамта, а вторую держит в кармане брюк. Если смотреть со спины, то разное в голову идёт. Мы говорим «лысый», так короче.

Лысого облепили голуби, постамент – шумная толпа наших. Даже Меля здесь, блаженно щурится на стайку молодняка и вяло перетирает что-то с Киксом-альбиносом. Альбинос тоже из старых, но его я совсем не знаю, так, издали.

- О-о-о! Кого я вижу! – радостно верещит Спринга и несётся к низенькой блондиночке.

Разглядываю её, отмечаю покатые плечи, широкий зад и коротковатые ноги, обтянутые джинсами с чёрными заплатами. И красную кепку-бейсболку. Блондиночка держит её в руке, аскает мелочь у прохожих: «Помогите музыкантам на билеты до Москвы». Музыкант только один – тощий парень со стянутыми в хвост каштановыми волосами, впалыми щеками и острым щетинистым подбородком. Вид у него голодный, в самый раз для аска. Он добывает ДДТшную «В мои четыре окна» и дышит на пальцы. Холодно, изо рта вырывается лёгкий парок.

Мы находим местечко чуть в стороне, возле клумбы с полумёртвыми бархатцами, в которую наши уже набросали окурков. Музыкант потирает ладони, стараясь их согреть, и снова берётся за гитару. Ну конечно, «Группа крови на рукаве – мой порядковый номер на рукаве», кто бы сомневался. Теперь аскает конопатый парнишка, вроде Вирус или как-то так. Блондиночка и Спринга отошли к высоким ёлкам. Спринга возбуждённо жестикулирует, показывает в нашу сторону.

Хочу уйти. Хочу, чтобы мы все ушли: Я, Будда, Джим, Чепчик, Спринга и Каша. Не знаю почему. Легонько тяну Будду за рукав, но он не замечает: закрыл глаза и слушает незнакомого музыканта. А тот отыграл пару цоевских куплетов и ушёл в импровизацию, да так, что дух захватывает. Скорость у него бешеная, будто сразу две гитары перекликаются.

- Это Эмани, помните, я про неё рассказывала? – Спринга вернулась, и подружку привела.

Блондиночка улыбается, оглядывает нас по очереди. Парень с гитарой заканчивает, наши хлопают. Он смущённо раскланивается, передаёт гитару Киксу-альбиносу, и тот начинает неспешно подкручивать колки: лабать после незнакомца – только позориться.

- Та, что из Крыма? – уточняет Каша.

- Не совсем, я тут проездом. Мы. - Эмани кивает в сторону музыканта и переводит взгляд на Будду – Это Краткий. Спринга сказала, что ты один живёшь. Можно вписаться?

- Конечно, - не задумываясь разрешает он, восхищённо глядя на Краткого. – Круто играешь.

- Да так, под настроение, - словно извиняется тот. Он мёрзнет, чуть притопывает на месте, и от этого цепочки над скошенными каблуками его казаков негромко позвякивают.

- Значит, мы вдвоём поживём у тебя? – не отстаёт Эмани.

- Ага, живите.

Вот бабка Будды обрадуется! Ей-то не объяснишь, что приютить наших – долг всякого, кто имеет свободный угол. Мы гордимся тем, что в любом городе найдутся еда и ночлег, стоит лишь разыскать чувака в косухе. Правда, сейчас с этим сложнее. А вот раньше, говорят, можно было всю страну объехать автостопом без копейки денег, разживаясь всем необходимым у встречных наших. И всё же не хочу чужаков в доме Будды. Это моя дурь и ничего больше, но не хочу!

Пока все они знакомятся, жмут руки и смеются над ерундовыми шутками, рассматриваю Лысого и молчу.

- А это кто? – кивает в мою сторону Эмани.

- Никто, - отвечает Спринга.

Всё правильно. Меня так зовут, и она не имеет в виду что-то обидное.

Но мне обидно.

Будда отдаёт им свой диван – Эмани и Краткому. А у него есть спальный мешок и кухня, там удобно. Наблюдаю из кресла, как Эмани разбирает рюкзак, небрежно бросает замызганную женскую мелочёвку на журнальный столик – зеркальце, тушь для ресниц, упаковка тампонов, пачка сигарет, связка ключей, расчёска, зубная щётка и что-то кружевное. Дальше майка, толстовка и джинсы. Они летят в мою сторону и падают на пол.

- Потом в шкаф закину, - говорит Эмани. – Всё, вроде.

Я слегка завидую. И даже не слегка. Ведь она путешествует, и все её вещи умещаются в небольшом кожаном рюкзаке: подхватила на плечо и лети в любую сторону. Никаких обязательств, проблем, привязанностей, только свобода. Когда-нибудь я смогу так же, мы с Буддой сможем. А пока приходится терпеть Ма.

В прошлом году наши потянулись за город на байк-шоу. Это не так уж далеко – пара часов на автобусе да с километр пешком. А там палаточный лагерь и круглосуточный треш. Только одна ночёвка, неужели я много хотела? Ма тогда покосилась на отца и нежно промурлыкала, что она не возражает, но последнее слово за ним.

- Не рано тебе по бедламам шататься? – хмуро поинтересовался отец.

- Я же не одна. Только представь, что там будет! Все крутые группы в одном месте! Я, может, никогда больше подобного не увижу! Не хочешь отпускать так, поехали со мной, ты ведь слушал «Машину времени» и других, ну пожалуйста!

- Нет... я нет, не поеду. Все эти прошлые идеалы, нет... одно разочарование.

- А я тут причём?! Это твои разочарования! Меня ты за что наказываешь?!

- Я не наказываю, просто ты девочка, понимаешь?

- И что? Я виновата, что родилась девочкой?!

- Ладно. Дам тебе свой мобильник. Будешь регулярно звонить сама, и отвечать на все мои звонки! Чтобы ни одного пропущенного, ясно?

Мы удивлённо разинули рты – я и Ма. Не отказал, вот те номер! А ночью я подслушивала под дверь родительской комнаты. Ма скулила и причитала. Говорила, что это слишком опасно, что она не сможет есть и спать от страха, что если со мной случится плохое, виноват будет отец. И он передумал. Сказал, что это не последнее байк-шоу, будут ещё. А Ма до сих пор уверена, что я не знаю, чьих это рук дело. Только я всё про неё знаю.

Эмани вытягивается в полный рост на диване Будды и закидывает руки за голову совсем как он. Мне это неприятно, ей здесь не место.

- Хорошо, - выдыхает она. – Устала. Ноги гудят.

- Много ездешь?

- Угу. Как из дома свалила после школы, так и мотаюсь.

- А чего свалила?

- Достали. Никуда не поступила, начали нудеть, чтобы работала. Где? На рынке? Не хватало ещё. Сначала по флэтам тусила, потом в Питер подалась. Сама понимаешь, что такое Питер, – она прикрывает глаза и мечтательно улыбается.

- Питер? Я не была...

- Да ты что?! Обязательно поезжай! Питер – это всё! Там же под камнем сердце бьётся! Вот приложишь ладонь к парапету на набережной и чувствуешь. Там воздух густой, туманы, мосты, белые ночи!

Эмани опирается на согнутую руку, привстаёт. Рукав рубашки сползает к локтю, и я вижу красную нить от сглаза, а ещё длинные выпуклые шрамы на запястье и выше. Белые тонкие линии. Похоже, она делала это бритвенным лезвием, и судя по количеству полос – не один раз. Я откровенно пялюсь, но ей не до того, её понесло:

- Это же совсем другая жизнь! Настоящая! Они ведь не просто так в Питер ехали, все наши рокеры! Там же поэзия вокруг! И музыка! И лучшие люди!

- Тогда почему ты здесь? – удивляюсь я.

- А! – Эмани снова укладывается на спину. – С чуваком разошлась, у которого жила. Познакомилась с другим, он предложил махнуть в Крым на лето. Ты в Крыму бывала?

Я неопределённо киваю и не хочу слушать дальше, потому что боюсь задохнуться от собственной ущербности. Но в тоже время жадно глотаю каждое слово Эмани. А она смотрит в потолок и рассказывает:

- Лучше всего, это трасса от Алушты до Ялты. Там ходят троллейбусы, между городами, представляешь? Горы, море и на каждой остановке есть что посмотреть. Мы как-то наткнулись на черешневый сад возле Долины Приведений. Жёлтая черешня, вот такая, - она поднимет кулак, - налопались на десять жизней вперёд. Я никогда ничего вкуснее не ела... а однажды мы ехали в троллейбусе и он встал. В Крыму часто перебои с электричеством, отключили ток, видимо. Так мы что придумали: все пассажиры, человек двадцать, этот троллейбус толкали. Затолкаем на пригорок, а дальше спуск, и он сам вниз несётся. Только успевай запрыгивать. Потом опять встаёт и снова толкаем. С хохотом, с песнями. И снова на ходу запрыгиваем. Это покруче сейшенов и прочей лабуды. Это вообще круче всего.

- А потом?

- Что потом?

- Почему вы с Кратким уехали?

- Почему?... Да так. Не сложилось. А с Кратким я в дороге познакомилась, когда уже сюда возвращалась. Я же вообще пустая, без бабла, а он запасливый. Сейчас в Москву. Потусуемся с арбатскими хиппарями, у них вписка без проблем. А дальше пока не знаю. Как повезёт. Главное, перезимовать в тепле.

Она закрывает глаза, а я долго смотрю в окно. За ним мокнут облезлые провисшие берёзы, тряпкой болтается на балконной верёвке чья-то забытая простыня. Холод и грязь. И кажется, что черешня - что-то невозможное, волшебное и небывалое. И солнце тоже. И море.

Тоска.

- Мне пора.

- Угу, - мычит Эмани, и сонно бормочет, когда я подхожу к двери: - Погаси свет.

Щёлкаю выключателем и топаю на кухню. Будда, Джим и Краткий сидят за грязным столом. Сутулые плечи, бледные лица. Перед ними чашки с остывшим чаем, который давно подёрнулся плёнкой навроде бензиновых пятен в луже. В центре - пепельница, полная окурков. Под потолком – сизое дымное облако. Распахнутая форточка впускает промозглый холод, а дыма меньше не становится. Он густой, тяжёлый, под завязку пропитанный гитарными рифами.

Краткий сгорбился, закинул одну длинную ногу на другую, обнял гитару, словно змей, обвивающий яблоню. Его пальцы перебирают струны, то замирают, то разгоняются так, что не разглядеть. И гитара течёт, плачет, а потом вдруг пронзительно вскрикивает.

- Мне пора, - громко сообщаю я.

Будда и Краткий не обращают внимания, а Джим оборачивается:

- Хочешь, провожу?

- Нет, не надо.

Я иду быстро, с силой вдавливаю толстые рифлёные подошвы в мокрый асфальт, словно его можно промять. Или в раскисшую землю, когда как. Шлёпаю по лужам, поднимая брызги. Не спешу, а просто держу темп, от которого жарко. Длинное чёрное пальто распахнуто. «Старуха Изергиль!» - хохотнула Спринга, когда я надела его в первый раз. Тогда я берегла обновку, сейчас подол напился грязной водой и отяжелел. Красный шарф болтается на шее, как петля. Это шарф Джима, так и не вернула после концерта.

Не знаю куда иду, но знаю от кого. От Эвани, которая с лёгкостью воплощает мои мечты и поэтому не может нравиться. От Джима, который плох именно тем, что нравится мне. От Краткого и его гитары, которая способна вытеснить из головы Будды всё и всех. От Будды, который стряхнул меня, как хлебную крошку с футболки. А ещё я ухожу от своего дома.

После стою на пешеходном мосту над железнодорожными путями. Как он правильно называется? Такое нелепое слово, похоже на «акведук». А что такое акведук? В общем, стою на пешеходном мосту. После четырёх лестничных пролётов почти бегом - жарко, только лицо леденеет на ветру.

Рельсы тянутся от меня к горизонту – восемь параллельных дорожек, которые вскоре плавно изогнутся и парами устремятся в разные стороны. Сейчас они пусты. Только чернильный ретро-паровоз покорно стоит у здания вокзала на декоративных путях. Ларьки на платформах закрыты, людей нет. Прячутся от непогоды в зале ожидания. Из живого здесь лишь я и семафоры. Я погасла, они ровно горят синими и красными огнями. Почти звёзды. Красивее звёзд.

Летом мы танцевали на крыше, пели на гаражах и атаковали электрички. Врывались в первую попавшуюся, и Каша кричал: «Куда она едет?» Пассажиры недоумевали, глядя на взлохмаченных и задыхающихся от быстрого бега нас. Кто-то называл конечную станцию. «Нет! В какую сторону?» - не отставал Каша. Нам показывали, и мы неслись через вагоны в противоположную. Потому что контролёры ходят от головы к хвосту состава, а значит, те, кто без билета, в хвосте проедут дольше. Однажды мы нарвались-таки на мощную тётку в синей форме, и радостно спели под три аккорда и баррэ Джима, что будем жить с ней в маленькой хижине на берегу очень тихой реки. Она всё равно нас высадила. Только раз.

Обычно мы ехали куда придётся и выходили на приглянувшейся остановке, там, где нет даже станционной будки. Просто платформа, несколько домиков, а дальше лес. Спринга бодро семенила на каблуках, Будда размашисто шагал под музыкальный рёв в наушниках, Джим нёс гитару, Чепа – тощего и хворого себя, я – себя здоровую, а Каша объёмный рюкзак с нашим хозяйством: пластиковые бутылки с водой, походная кастрюля, картошка, банка тушёнки, нож, соль в спичечном коробке и спички в другом спичечном коробке. И всегда удавалось надёргать морковки, укропа, зелёного лука или молодого чеснока на случайном огороде.

В лесу Каша находил пару брёвен потолще, укладывал рядом и ловко разводил между ними костёр. Мы варили суп. Суп в который обязательно попадала разная мелкая труха, сосновые иглы, кусочки коры, и который был необыкновенно вкусным.

Теперь я одна, держу руки в карманах и зябко ёжусь. Смотрю, как из-под моста, прямо из-под моих ног, выползает товарный состав. Он не летит на всех порах, тянется еле-еле. Дышу запахами смолы и мазута. Мост дрожит, грохот долбит в перепонки. Жёлтые продолговатые наливники сменяются открытыми платформами. Мы хотели

забраться на такую и уехать туда, где море. Сейчас от одной мысли об этом становится дурно. Из-за холода, дождя и близкой ночи. И вдруг остро хочется домой, и накатывает безысходный плач Янки Дягилевой, которая тоже заблудилась:

«Нелепая гармония пустого шара наполнит промежутки мёртвой водой,
через заснеженные комнаты и дым протянет палец и покажет нам на двери,
и отсюда домой!»

Я хочу каждый раз возвращаться домой и не зависеть от случайных парней, как Эмани. Не искать ночёвок, не унижаться, не аскать мелочь. Не смотреть на жёлтые прямоугольники чужих окон с тоской и ненавистью. Не бояться, что выгонят, и не проситься назад, если это случилось. Я мечтаю о свободе, мы все только ею и живём, но у нас всё должно быть иначе. Не знаю, как, но у нас всё будет по-другому.

14

Восемь утра. Ма сидит в кухне и пялится на вытяжку над плитой. Обычно она спит часов до десяти, потом хлещет кофе, наводит красоту до полудня, а после упархивает неизвестно куда – салоны, магазины, подружки, йога, и уж не знаю, что ещё. Сегодня не так.

Я злая и сонная, потому что Ма и отец полночи мешали спать. Не орали, но довольно громко выясняли отношения. Бывает. Хорошо, что редко.

Шаркаю тапками, кромсаю хлеб и колбасу на драгоценной столешнице из серо-буро-запредельной сосны, с минуту не замечаю истеричный свист закипевшего чайника. Трясу нечесаными волосами, хмурюсь неумытым лицом и жую кусок сыра нечищеными зубами. Щедро рассыпаю крошки, берусь за ручки шкафчиков жирными пальцами. Ма молчит и пялится на вытяжку. Что ещё сделать? Засунуть руку в блендер? Голову в микроволновку?

- Тебе кофе сварить? – спрашиваю.

- А?

- Кофе?

- Нет.

Ну ладно, мне-то что. Включаю телевизор и жую бутерброд. Ма пялится на вытяжку. И вдруг ни с того ни с сего выдаёт:

- Он собрал вещи и ушёл.

- Кто? – будто не понятно.

- Твой отец, - теперь она смотрит на меня.

У неё такое жалобное, раскисшее лицо, словно я могу всё исправить. Вот сейчас встану, смотаюсь на улицу и за руку приведу отца назад. А где же привычное: «ты виновата»? Пусть бы лучше ругалась. Тогда я бы просто послала её подальше, а так чувствую себя последней бестолочью, которая в ответе за слабенькую несчастную Ма. Чушь собачья! Как это – ушёл?

- Из-за меня? – уточняю на всякий случай.

И тут её словно прорывает:

- Он не хочет ребёнка, говорит, что возраст, говорит, что это опасно, что могут быть отклонения, а мне всего сорок, и если он может по фитнес-клубам сопливых девок лапать, то и ребёнка воспитывать может, он просто не хочет быть со мной! – она задыхается, шарит руками по столу, захлёбывается скороговоркой. - Скажи ему, скажи!

- Какой ребёнок?

- Мой!

- Ты кого-то в детдом сдала по малолетству, а теперь хочешь забрать в семью? – я правда не понимаю, а она похожа на сумасшедшую.

- Издеваешься?! – взрывается Ма. – Я на третьем месяце!

- А-а-а, - мой мозг – тупое неповоротливое чудовище. – В смысле... беременная? Ты?

Это же дико! Ну, то что Ма и отец, старые, нудные, и как они это сделали? Как такое вообще?! Даже думать противно. А теперь она совсем рехнётся из-за своего живота, будет требовать поклонения и обожания. А отец? Свалил по-быстрому, он же не дурак. А я? Я куда денусь?

- И ты против меня, - понимает Ма.

Это не упрёк, а страдание в чистом виде. Ма вспыхнула и перегорела. Словно выдохлась. Спутанные пряди падают на лицо, пальцы беспокойно теребят поясok шёлкового халата. Она не будет на меня давить, угрожать и требовать. Она слишком покорная для этого. Беззащитная. Затравленная. Что ей теперь делать? Нет, что нам теперь делать?

- Мам, я не против, но слушай, - пытаюсь сказать помягче, но не получается, - зачем тебе этот ребёнок?

- Не понимаешь? - удивляется она. – Чтобы кого-то любить.

Ну конечно! Теперь ясно. Сейчас-то любить некого.

- Позвони Инусику, она точно поймёт, - говорю.

Пошли они все!

А я буду жить, как всегда. У меня есть наши, они моя семья.

К чёрту, к чёрту, к чёрту всё!

Если дома и с нашими я никто, то в школе – суперникто. Это просто: смотришь не на человека, а сквозь, игнорируешь любую его активность, и он отвязывается. Даже учителя лишний раз не вызывают, потому что мои устные ответы – сплошное разочарование. Но сегодня я превзошла саму себя: другие будто чувствуют голодную чёрную дыру у меня внутри и стараются обходить за пару метров. Это неплохо, это делает школу сносной. Если бы не Фига.

Фига входит в класс на литературе, кивает Паловне и находит глазами меня:

- Жду вас на перемене, - чуть шепелявит она, - в шестом кабинете.

Фига – завуч, в перерывах между экзекуциями она преподаёт химию. Паловна кривит губы в жалкой гримаске, что-то лепечет закрывшейся за Фигой двери, а потом переводит на меня скорбно-торжествующий взгляд. С ней я давно не разговариваю, не о чем. Слишком безвольная, слишком похожа на овцу. Фига тоже выглядит неважно – вроде старой переспелой груши, но не стоит обманываться на её счёт.

На перемене разглядываю таблицу Менделеева, стоя перед столом Фиги и стараясь не обращать внимания на её немигающие глаза. Неподвижные глаза рептилии.

- Что на вас надето? – почти шепчет она.

Фига никогда не повышает голос и обращается на «вы» даже к первоклашкам. Это «вы» обдаёт холодом, унижает.

- Одежда, - теперь я рассматриваю брошь в виде лилии на её бордовом свитере. Даже эта железка на дешёвеньком, покрытом катышками куске синтетики не вызывает усмешки. Над Фигой не смеются.

- В нашей школе девочки носят юбки. Солдатские ботинки, порванные штаны и футболки с вызывающими надписями здесь неуместны. Вы настолько глупы, что не понимаете простых правил?

- У меня нет юбки.

- Неужели?

- Да.

Фига хмыкает. Почти незаметно, но я внутренне подбираюсь. Почему-то представляю химичку среди колб и мензурок, в которых обязательно есть серная кислота. И она пустит её в ход.

- В вашей семье не хватает денег на такую простую вещь? Если так, мы найдём средства и подарим вам юбку от педколлектива. И шампунь.

- Благодарю, но обойдусь, – нет, Фига, ты не выведешь меня из себя, не старайся. - Я пойду? Надо готовиться к следующему уроку.

- Задержитесь. Вопрос внешнего вида мы ещё обсудим, а сейчас поговорим о другом.

Фига демонстративно раскрывает классный журнал. Ведёт коротким желтоватым ногтем по списку фамилий, останавливается на моей:

- Вчера на педсовете обсуждали вашу успеваемость.

Это не вопрос, можно не реагировать. Она выдерживает паузу и продолжает:

- Вы собираетесь переходить в десятый класс?

- Может быть.

- Значит, ещё не решили?

Не отвечаю, пусть уже выкладывает. Она откидывается на спинку стула и выдаёт доверительным тоном:

- Учитывая ваши успехи, я бы советовала подумать о колледже. Поступайте после девятого класса, зачем вам школа?

- Я подумаю, - с трудом сдерживаю ухмылку, - спасибо за заботу.

- Никакой заботы, - Фига раздражённо отворачивается, в стёклах очков вспыхивает отблеск электрической лампы. – Вы нам надоели. А теперь можете идти.

Конечно могу, и никто мне не запретит. Представляю, что скажет отец. Хотя, теперь у него другие заботы, на подходе новый ребёнок. Перспектива поскорее убраться из этой душегубки вполне приятна. Мне нравится. Фига – перст судьбы, указующий путь. А может, подыскать колледж в другом городе? Вообще хорошо!

Возвращаюсь в класс, считаю звонки. Из шести уроков не запоминаю ни одного. Время стало круглым, как в Янкиной песне, вроде прозрачного шара на воде в летнем парке. Есть такой аттракцион: здоровенная надувная сфера в бассейне – залезаешь в неё и болтаешься, как в невесомости. Примерно так я болтаюсь в школе, а потом снова улица, снова морось и мои ботинки, бодро шагающие неизвестно куда. Раз-два, раз-два, левой, левой. Плещется вода в бассейне, покачивается шар, сидит внутри девочка и всё ей нипочём.

- Чего надо? – бабка Будды оглядывает меня с головы до ног, не смотрит – а щиплет.

- Я к Будде.

Она приваливается плечом к дверному косяку и воинственно складывает руки на груди. Почти вижу, как из неё лезут дикобразные иглы – через кожу, через клетчатую байковую рубаху и треники – лезут и топорщатся в мою сторону. Это что-то новое. Она никогда не отличалась душевностью, но и злобной не бывала.

- И чего ты сюда ходишь? – презрительно цедит бабка. – Шаболда бессовестная!

Что?! Сегодня магнитные бури или парад планет какой-нибудь? А может, на моей спине бумажка с инструкцией: «ударь меня»? Открываю рот и снова закрываю. Наверное, похоже на рыбы потуги дышать, когда что-то острое пробило губу насквозь, и неведомая сила выдернула из воды.

- Нечего сказать? – каркает бабка. – А его дома нет, так что поищи в другом месте. С наркоманами вашими. И вот это заberi.

Она запускает руку в карман, быстрое движение, дверь захлопывается.

Я наклоняюсь, подбираю с пола красные кружевные трусики. Те, что вчера вечером достала из рюкзака Эмани. Те, что бабка Будды только что швырнула в меня. И чувствую, как голодная чёрная дыра внутри наполняется жидким огнём.

Этот огонь я выплёскиваю спустя пару часов. После того, как истоптала пол города, вышла на маршрут «Лысый - Колесо - Мелин переулок», обшарила все подворотни и додумалась заглянуть к Тим Санычу. Я плююсь огнём, словно мифический дракон. Я целюсь в Эмани:

- Это твоё?

Они все здесь. Будда и Краткий с гитарой на тахте, Джим с книжкой в кресле, унылый Чепчик в дальнем углу, Эмани, Спринга и Каша за оживлённой беседой у стола. Только Тим Саныча нет.

Сегодня зрачки Саныча снова беспокойно метались, а нижняя губа нервно подрагивала. Дверь открыл не сразу, впустил неохотно: «А-а-а, это ты». Потом отошёл на пару шагов, позволяя мне втиснуться в прихожую, щёлкнул двумя замками и задвижкой и ускользнул в кухонный закуток. Да там и остался. А я сбросила ботинки и нырнула в комнату, даже пальто не сняла.

- Ты потеряла, Эмани? – голос у меня, как лопнувшее стекло. Звон и скрежет.

Повернулись все, смотрят на красную тряпку, которую брезгливо держу двумя пальцами.

- Так это же... - растеряно моргает она.

- Трусы, - киваю.

- Угу, похожи на мои. Ты их где взяла?

- Бабка Будды просила передать, - ещё немного и я захлебнусь ядом.

- Вот я балда! – восклицает Эмани. – Простирнула и на батарее в ванной оставила.

Мы же специально свалили - не хотели с бабкой встречаться. Прибрались даже, чтобы не палиться, а я всё испортила!

- Классные труселя, - хихикает Каша. – Дай посмотреть.

- Ага, щас! Обойдётся, маленький извращенец, - в тон ему отвечает Эмани и тянет руку, чтобы забрать.

Не отдаю.

- Бабка решила, что они мои, - если бы словами можно было ударить, я бы расквасила ей нос.

- Твои?! – прыскает Спринга.

- Удивительно, да? Где уж мне со свиным рылом в кружевные ряды, - я бы расквасила два носа.

- Да ладно, она к вечеру забудет, - Будда поворачивается ко мне. - Хорошо, что ты пришла.

Удивительная штука, но несколько пустых слов начисто лишают воли. Потому что это Будда. Потому что он смотрит на меня слегка виновато. Будда – моё электричество, он пробирает насквозь. При нём я держу спину прямой и отслеживаю каждый его жест или взгляд. Чтобы хранить, доставать время от времени из памяти, будто цветные бусины из кармана, и неторопливо ошупывать. Искать тайные смыслы, намёки на особое отношение Будды ко мне. Выдумывать признаки любви.

Злость подбирает чёрные щупальца, съёживается, уменьшается. Но не уходит. Я не знаю, что и когда во мне испортилось, но не хочу сидеть у ног Будды, как раньше. Рядом с ним, да. Но не так. Кажется, это Андерсен написал про свою Русалочку: принц её полюбил и позволил спать на бархатной подушке у дверей. Хватит.

- Наслаждайся, - не замечая протянутую руку Эмани и отдаю её вещицу Каше. Беру пару печений из глубокой тарелки на столе, киваю Чепчику и подсаживаюсь к Джиму. Он откладывает книгу обложкой вверх и спрашивает:

- Хочешь чаю?

- Неа, а что с Тим Санычем? Он какой-то вздрюченный.

- Не знаю. Может, Чепа в курсе?

- Обострение, - отмахивается тот и отворачивается. Ну и пусть.

- Что читаешь? – не дожидаясь ответа, пробегаю глазами название, - «Карьера дворника», скучновато звучит.

- Всё не так плохо, полистай, - предлагает Джим.

Открываю первую страницу: «Ботинки на мне замечательные, да-а-а... В них топать и топать, топать и топать, топать и топать... Плывут, плывут, плывут в оцепененье чувств»...

- А мне Тим Саныч про восточное дерево персика обещал почитать, - хвастается Спринга.

- Увлекаешься садоводством? – книги Каше по боку, но если дело касается Спринги, он в стороне не останется.

- Вроде любовное что-то, - это Эмани.

- С красными оборками?

- Дурак, это древний трактат, - важничает Спринга. – Историческая вещь. Наверняка заумь, но надо Саныча уважить и проявить интерес.

- Не знал, что ты такая уважительная.

- Теперь знаешь.

Мы болтаем о книжках, а потом просто сплетничаем. Будда привычно отмалчивается, но я несколько раз перехватываю его взгляд. Он словно не узнаёт меня, точнее – сомневается и хочет убедиться. От этого немного тревожно. И от того, что Саныч так и не вылез из кухонного закутка. И от угрюмости Чепчика. И от глубоко запрятанных мыслей о Ма и отце.

Можно сколько угодно изображать беспечность, но мне надо домой.

Чепчик догоняет в подъезде. Он не собирается провожать нас с Джимом, а лишь задерживает на пару слов.

- Слушайте, я насчёт папаши, - мнётся Чечик. Его губы снова потрескались и кровят.

- Чепа, купи уже гигиеническую помаду, - советую я.

- Ага, куплю. Только сначала один вопрос. Скажете Будде кое-что? Я бы и сам, но не знаю... всё-таки вы давно дружите, - он смотрит на меня. – Скажешь?

- Что?

- Папаша не хочет, чтобы вы Эмани и Краткого приводили. И вообще чужих. Обострение у него. Говорит, что они за ним следят и упекут в тюрьму.

- Он поэтому прячется?

- Угу.

- Ясно.

- Скажешь?

Отвожу глаза. Надоело. Я – никто, незаметное серенькое пятнышко и ничего больше. Отстаньте от меня!

- Я скажу, - обещает Джим, и мы наконец-то уходим.

Джим тот ещё болтун, но когда нужно умеет не напрягать. Это настоящий дар. Мы просто идём рядом, как в той Тим Санычевской книжке – плывём, плывём, плывём... Лучше и не скажешь. И облака плывут в лужах, и голуби с воробьями, и тощий кот возле табачного ларька. Плывут жухлые листья с деревьев и сами деревья по обочинам. Скользят машины по серой асфальтовой реке. Продрогшие люди текут по тротуарам, собираются в маленькие заруды на перекрёстках. И всё это в оцепененье чувств.

Чуть наклоняю голову, хочу незаметно поглядеть на Джима, но он замечает и широко улыбается. Смуглая кожа, чёрные глаза и волосы делают его улыбку яркой, почти слепящей. И я вдруг понимаю, до чего он щедрый.

У нас куча забот. Наши жизни – страдание, как сказал Будда. Не мой, а настоящий, общечеловеческий. Мы – перепуганные непонятые отщепенцы, слишком умные для шмоток и ночных клубов, но слишком глупые для самых обыкновенных радостей. Каждый – поза, каждый – надуманная трагедия. Крапаем плохонькие стишки, сгрызаем ногти до мяса, ищем, куда приткнуться. У наших понимания не найти, они такие же – угловатые, неудобные, острые. И только Джим никогда не жалуется. Ровно светится тёплой улыбкой. И я принимаю это как должное, словно он не способен быть несчастным.

- Джим, тебе бывает плохо?

- Всем бывает.

- Я только про тебя спросила.

- Почему?

- Что?

- Почему спросила?

- Просто.

- Давай скорее! – он хватает меня за руку и тянет в автобус.

Втискиваемся на заднюю площадку, расталкиваем локтями болоньевые бока и спины, забиваемся в угол у окна. Час пик. Гроздь тел в дутых шуршащих оболочках привешены к поручням. Чёрные, коричневые, серые одёжки, будто все остальные цвета осенью под запретом. Может, они думают, что на буром грязи не видно? Или наоборот хотят слиться с уличной слякотью, чтобы Бог не заметил с неба и не подкинул трудностей? Трудности большие, трудности малые. В детстве я любила смотреть на людей в автобусе и представлять о чём они думают - наверное, об очень интересных вещах. А потом поняла, что нет в их головах ничего особенного. Ничегошеньки. Продукты дорогие, зарплата нескоро, насморк-кашель, дети хамят, он наорал, она обидела...

- Ма с отцом собачатся, - зачем-то говорю Джиму. – Он детей больше не хочет, а она беременная.

- Ух ты! Поздравляю!

- С чем?

- С братом. Или с сестрой. Это же классно.

- Да ну, с младенцами геморрой один.

- А я очень хотел кого-то, но мои не могут, - Джим и сейчас не жалуется, а просто рассказывает. - Мама долго проверялась и пыталась лечиться. И папа тоже надеялся. А как поверили, что выхода нет, обрушили на меня все свои родительские инстинкты. Они уже раз пять могли развестись, если бы не я. Так что надо соответствовать. Поеду в Москву, поступлю, пусть радуются. А у тебя - свобода. И знаешь, дети прикольные, тебе понравится.

- Мне уже не нравится, - я в этом не уверена, но проверять не хочу. - Надоело всё. Вот бы сбежать куда-нибудь, хоть на северный полюс. Закопаться в сугроб и сдохнуть.

Джим смотрит на меня, как на маленькую. Свысока, насмешливо, но по-доброму. Тянет руку и отводит чёлку с глаз. Пальцы у него осторожные, ласковые. А я упираюсь спиной в стойку и не могу отвести взгляд от его лица. И салон автобуса становится вакуумной упаковкой: из него медленно уходит воздух, пространство сжимается, и нас с Джимом всё сильнее сдавливают и тащит друг к другу. Я вдруг понимаю, что он меня поцелует. Губы немеют от страха и предвкушения. А потом? Что мы станем делать потом, о чём говорить? Ведь если что-то пойдёт не так, это не исправить, не отмотать назад.

- Моя остановка, - выдыхаю я и, не дожидаясь ответа, спасаюсь бегством.

Джим не выходит за мной.

Надо было отдать ему шарф.

Надо было остаться.

Надо было... как же всё это тяжело!

В прихожей истоптанный загаженный пол, в кухне - свинарник. Значит, Ма прислушалась к моему совету и позвонила Инусику, а та, судя по грязным тарелкам, привела с собой ещё парочку прожорливых тёток. Бутылки, рюмки, стаканы, измазанные по краю алой помадой. Апельсиновая кожура, огрызки, ошмётки, коробка из-под пиццы, распотрошённая курица-гриль, окурки. Горы окурков. Что она творит, она ведь в положении! Хотя, какое мне дело? И разгребать эту помойку я не стану, даже близко не подойду. Хорошо, проветрить додумались, но всё равно пованивает и холод собачий.

Ма нахожу в зале. Она в утреннем халате, непричёсанная, видать сильно страдает. Свернулась на диване перед телевизором. Кулак под щекой, глаза закрыты. А на экране негромко жужжат американские толстухи - выбирают свадебное платье в дорогом салоне. Ма часто мотает эти идиотские шоу по кабельному. Реалити про свадьбы, детские конкурсы красоты, пластические операции и прочую забугорную туфту. Обычно, мне это без разницы, но сейчас бесит. Фальшивая правда. Такая же, как Ма, Инусик и все их подружки.

Тихонько присаживаюсь на подлокотник кресла, беру пульт и листаю каналы. Вспыхивают и гаснут картинки, сливаются в несъедобный винегрет. Фигня, фигня, фигня. Останавливаюсь на японской мультяшке и подвисяю. «Лунная призма, дай мне силу!» - голосит девица в матросском костюмчике и превращается в супергероиню.

А если бы он меня поцеловал? Стоп!

- Пришла? – глухо спрашивает Ма.

- Пришла.

- А он?

- Нет.

Она садится, пытается пригладить жёсткие немытые лохмы, трёт глаза. Дёргает шнурок бра и морщится, словно от боли. Лампочка слабая, но её тусклого жёлтого света достаточно, чтобы явить миру отёки под глазами Ма. Она выглядит так, будто её жевал великан. Пожевал и выплюнул.

- Я не спала.

Молчу. Смотрю в экран. Японочка перекинулась в фею, обзавелась магическими способностями и сражается с демоном. Я на его стороне - больно хорош, хоть и женоподобен, как все парни в анимешках. Но героиня, конечно, победит.

- Я не спала, - повторяет Ма. — Я ему звонила. Телефон включён, но трубку не берёт. И рабочий не отвечает. Хотя, для рабочего поздно уже, да?

Она держит паузу, ожидая моей реакции, но зря.

- Я звонила в больницы. И в морги.

- Зачем? — так и есть, демону недолго осталось.

- Потому что волнуюсь, - всхлипывает Ма. — Он же за рулём. Да и мало ли что может случиться.

«Вон сколько бандюганов на дорогах развелось, выйдешь из машины пописать, ткнут по голове и всё», - всплывает в голове бабушкина истерика. Та, которая случилась с ней, когда отец и Ма про меня забыли. Года три назад. Оставили с бабушкой на пару дней, и пропали на неделю. Бабушка — женщина добрая, но психованная. И если разойдётся, не остановишь: «Лежат твои папка с мамкой в канаве на обочине, а нам и похоронить некого!» Я их оплакивала тогда. По-настоящему. Чуть не умерла от горя. А они ничего, прикатили весёлые, здоровые и полные сил. «Ой, да хватит уже! — только и сказала Ма. — Устроили трагедию!» И мне захотелось её ударить.

- И что там, в моргах? — поворачиваюсь и смотрю на Ма в упор.

Она не отвечает сразу. Часто моргает, комкает поясок халата, а потом просит:

- Позвони его бывшей. Я не могу. Я тебя очень прошу, пожалуйста.

- И что я ей скажу?

- Разведай аккуратно, вдруг он у неё был? Или она знает, где искать.

- Слушай, какая разница? Ты уже всех достала своей ревностью.

- Причём тут ревность?! Я с ума сойду. Свихнусь, понимаешь? Постоянно всякая жуть в голову лезет. Что его убили, или сердечный приступ, или авария. Позвони.

Мы словно поменялись местами. Она хлюпает носом, цепляется за меня слабыми ручонками, а я большая и сильная. Как решу, так и будет.

- Хорошо, - вздыхаю. — Только переоденусь.

Не хочу звонить отцовской бывшей. Нет, она мне ничего плохого не сделала, мы и не знакомы толком. У неё сыновья, внуки, наша семья побоку. Так, поздравляет с днём рождения, с отцом вроде не враждует. Нормальная тётка. И всё-таки неприятно думать,

что из-за моего звонка она поймёт про отца и Ма, про их разлад. Поэтому оттягиваю разговор.

Или хочу помучить Ма? Поди разберись.

А деваться всё равно некуда.

Вот они мы, сидим на диване рядышком, как две девочки, которые собрались позвонить симпатичному мальчику. Волнуемся. Ма стиснула руки на коленях, я листаю телефонную книжку. Ага.

- Громкую связь включи, - шепчет Ма.

Гудки, гудки, гудки.

- Кажется, нет нико...

- Алло?

- Здравствуйте! – бодро рявкаю я.

Голос у отцовской первой жены гладкий, округлый, как речной камень. Приятный учительский голос. А мой срывается, прыгает бестолковой собачонкой. Вдруг не узнает? Узнала, замаскировала удивление приветливостью, спросила, как поживаю. Нет, отец к ним не заезжал. А что случилось? А-а-а, понятно, наверняка у него села батарея, обычная история. Ничего страшного, звони в любое время. До свидания.

Нажимаю кнопку отбоя и поворачиваюсь к Ма. Она закусила костяшки пальцев, глаза на мокром месте.

- погоди, мы сейчас ещё кого-нибудь вызвоним, – говорю.

Что там по алфавиту? Друг отца тоже ничего не знает. Заместитель не берёт трубку. Ещё один друг занят, позже перезвонит. Не то. Дальше. Вот! Секретарша Яна, ну да, на последней странице.

С Яной разговариваю твёрдо, уже наловчилась. Она торопится, быстро выдаёт информацию и отключается. Всё хорошо, Ма может расслабиться. Могла бы.

- Почему он не предупредил?! – недоумевает она.

- Наверняка предупредил. Но ты не расслышала или внимания не обратила. Вы же ругались. А с утра пораньше собрал вещички и смылся по-тихому в свою командировку. Может так быть?

- Может, - соглашается Ма. - А почему трубку не берёт?

- Потому что думает.

- О чём?

- О ребёнке, о тебе, - себя я не упоминаю, ясное дело. - Ему разобраться надо. Спокойно, без скандалов.

- Значит, он меня не бросил?

- Получается так.

- Ты уверена?

- На сто процентов.

А я, оказывается, редкая врунья. И большая молодец. Ма успокаивается, съедает пару снотворных таблеток и залезает под плед. Телевизор журчит, бра горит, Ма в порядке. Моя миссия выполнена. Ну, почти.

Иду на кухню, достаю из шкафчика мусорный пакет и сгребаю в него объедки. На этом бы и закончить, но ведь сегодня вечер чудес и превращений. Поэтому грязная посуда становится чистой, а с пола исчезают липкие винные пятна и следы уличной обуви. Конечно же, я это делаю в силу врождённой чистоплотности, а вовсе не потому, что жалею маму. То есть Ма.

19

«Бам-тум-там-уц-уц-уц-там-дадададада-тыдыщщссс» – взрывается ударная установка и опадает звоном тарелок.

«Уи-и-и, ви-и-и, иу-у-у» - заходится электрогитара.

«Пионер-легионер! А-а-а! Пионер – нам всем пример! О-о-о! Топчи железом кованым, марш-марш! Ату! Ату! Ату!» - рычит и подвывает солист. Местные металлисты, группа называется «Кровавая грань». Или «Гранёная кровь». Разницы никакой.

- Они же обещали акустику! – пытается перекрычать металюг Краткий.

Мы здесь из-за него. Заведение называется «Мутный глаз», наше заведение, но больше для старичков. Грязная подвальная пивнуха, задымленная, тесная, тёмная – то, что надо. Даже зубодробительный рёв из динамиков не может полностью перекрыть хохот и вопли наших. Мы стоим на пороге и смотрим на адский бурлящий котёл. Чувак с алым ирокезом поливает музыкантов пивом, девицы трясут космами, толпа кипит, хаотично закручивается, сжимается возле барной стойки, распадается на молекулы и снова приходит в движение. Воздух липнет к коже плотной смесью табака, пота и алкогольных выхлопов, кажется, что его можно взять в горсть. Белые вспышки искрят на цепях и шипастых ошейниках, пробегают частыми всполохами по булавкам на чёрном свитере Будды. Он счастлив, я это чувствую. Словно приёмник, настроенный на особые волны, различаю

восторг Спринги, нетерпение Каши, радостное волнение Чепчика и ровное свечение Джима. Эмани и Краткий не из моей стаи, но страх Краткого я чувствую тоже. Потому что он пришёл сюда играть.

Меля встаёт и машет как сумасшедший, ещё немного и он лишится руки - она попросту оторвётся. Мы протискиваемся ближе к музыкантам и расползаемся по стульям. Краткий прислоняет гитару к бетонной стене и складывает руки перед собой на липкой исцарапанной столешнице. Его длинные пальцы спокойны, но взгляд мечется от сцены к Меле и обратно.

- Круто? – орёт Меля.

- Я не могу здесь играть, - отвечает Краткий.

- Что?

- Не могу! Здесь! Играть! – Краткий заходится кашлем, и Меля хлопает его по спине.

- Не парься! – успокаивает Кикс-альбинос. – Они скоро заткнутся!

Но «Пионер-легионер» сменяется «Лунной тварью».

Я пытаюсь вычленил хоть какой-то текст из воя и рычания бесноватого солиста, но выскакивают только тварь, луна и смерть. Надоело. Прислушиваюсь к нашим.

- ... а не кисель этот молочный. Рубишь фишку? А фишка в том, что фишки нет! Как Сартр сказал? Он сказал: «Я - есть, но ради чего?». Или не он, но главное же суть, - Меля разводит руки в стороны. – Вот ради этого! Ради этого бедлама я живу! А ты? Ну?

Краткий отвечает, но я не могу разобрать слов.

- Не, это понятно, - орёт Меля. – Но иначе мы все протухнем. Ты на Кикса не смотри, он просто надрался, но не скис! Кикс не скис, блин, а я поэт! Подожди, что я хотел? А! Вот крысы конторские и прочие бедолаги в белых рубашках ни черта не хозяева жизни! Кикс хозяин жизни! И я, и ты, и вот вы все молодые! Вы! Воины миллениума! Молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли!

Кикс важно кивает и обнимает меня за плечи. Я вскидываю голову, упираюсь взглядом в его слюнявую ухмылку. Ресницы у Кикса белые, и брови тоже, волосы наверняка светлые сами по себе, но гидроперит вытравил их до синтетической кукольной платины. Так и надо, если зовёшься альбиносом. А лапать не надо. Сбрасываю тяжёлую ладонь, но он не обижается, а лишь подмигивает и сразу переключается на Спрингу. Ох и недобрая у неё усмешка, на месте Кикса я бы поостереглась. Но это их дела.

Металюги закруглили своё творчество эффектным фейерверком и нырнули в горячую толпу. Стало чуть тише.

- ... потому что это - ферма, понимаешь? Весь мир – большой загон для покорного стада. Они рождаются, размножаются и вкалывают. Всё! А мы не бараны, мы – хищники! – продолжает вещать Меля. Бритый череп влажно блестит. Сплюснутый нос, агрессивный оскал и крупная серьга в ухе делают его похожим на пирата. На опасного морского волка. Краткий будет играть, потому что Меля его пригласил, а за компанию и всех нас. И потому что Меле не отказывают.

Я оглядываю наших. Эмани и Спринга шепчутся, Джим рассматривает толпу, Будда... что-то не так. Я пока не въезжаю, что именно, но сейчас думала про... вот! Свитер!

- А где моя булавка? – тянусь через стол к Будде.

- Какая?

- Булавка, я её раньше вместо серьги носила! Ты заколол её воротник, помнишь?

- Нет, а что?

- Вспоминай! Булавка! – это важно, очень важно, поэтому я кричу и невольно привлекаю внимание остальных.

- Что за булавка? – любопытствует Эмани.

- Была у Будды на свитере, вот здесь, - я показываю на свою шею.

- А, эта? У меня молния на джинсах разошлась, Будда дал, чтобы заколоть. А что случилось? Вернуть?

- Не надо. Дарю, - пытаюсь взглядом прожечь дыру в глупой голове Будды, но он уже отвернулся и тихо беседует с Джимом. Он не понимает. Они все не понимают.

Кикс откинулся на спинку стула, упёрся затылком в стену, и вроде спит. Вот и ладненько. Беру его кружку. И отпить толком не успел, устал, бедняга. А мне нужно залить ненависть, загасить чем угодно, но только удержаться от безобразной бабской истерики. Я видела такие у Ма, у меня дурная наследственность. Но я – не она. Я – никто. И я пью, пью и пью.

Наши ходят кругами, говорят, кричат, двигают стулья и стол. Кто-то поёт. Женский голос с подвывами. На этот раз акустика, похоже, душестрадательный этнофолк. Пиво горчит и не заканчивается. Ещё кружки. Словно погружаюсь на глубину и уже не помню, откуда взялись мокрые пятна на моей футболке. Выхватываю лицо Спринги, близко, киваю, не слышу. Краткий встал и понёс гитару – куда? На коленях у Мели пищит незнакомая брюнетка, он называет её Бестией. Интересно, она глаза чёрным маркером нарисовала? Не успеваю спросить: девица волшебным образом исчезает. Джим с вопросами,

снова киваю. Ой, двое из ларца одинаковы с лица. Подсаживаются, стучат стаканами, вскидывают кулаки. Камикадзе и - как? Стечкин? Да, скинхэд. Не-е-е, не интересуюсь. Тесно. Душно. Сейчас вернусь. А может, и нет.

На улице тихо. Неподвижное ватное безмолвие. Особенно густое после подвала наших. Благодать и тьма. Теперь темнеет рано, а лужи по вечерам покрываются тонкой наледью. Хрустят под подошвами яичной скорлупой. Огни фонарей струятся над проспектом, оплывают бледными пятнами. Если встану под деревом и посмотрю на фонарную лампочку через ветки, то увижу паутину. Круглый узор, сплетённый из тонких веток. Главное, не опускать глаза: ветер качает тени, они скользят по тротуару, кренят его в стороны. И тогда словно оказываешься в лодке. Волны и тошнота. Лучше глядеть вверх, в чёрный бездонный колодец. В заоблачный тоннель, в котором нет и лучика света.

- Бог, ты там? – спрашиваю, задрал голову.

И начинаю смеяться, потому что представила голос с небес:

«Пока да. Что хотела?»

«Да ничего особенного. Спросить. Как у тебя дела?»

«Нормально. А у тебя?».

«Всё путём. Только меня Будда не любит».

«Тебя семь миллиардов людей не любят. Считаю, все на вашей забавной планете».

«А тебя?»

«Не знаю. Вас не поймёшь».

«Это точно. Слушай, я, наверное, пойду».

«Ага, иди».

В это раз Джима нет, я одна. Вокруг ни души, только изредка проезжают машины с тихим утробным урчанием. Мимо и мимо. Сама не поняла, когда умудрилась свернуть с проспекта на извилистую потаённую улочку. Но это даже лучше, спокойнее. И путь немного срежу. Всё-таки топать в другой район часа два, если не расхолаживаться. Бодро шагать, проветривать мозги, прочищать лёгкие. И я шагаю. Я – солдат, пехотинец. Дайте мне ружьё, чтобы пристрелить Эмани. Или себя. Или Будду. Да, я готова посягнуть на здоровье моего золотого идола Шакьямуни. Иногда, чуть-чуть.

«Бог, поговори со мной, а?»

«Зачем?»

«Представляешь, мне ужасно плохо, а поделиться не с кем».

«Бывает».

«И у тебя?»

«И у меня».

Частный сектор, маленькие домики за заборами. Горят окна, жёлто и уютно перемигиваются в темноте. Люди и не знают, до чего здорово светятся их люстры за тонкими шторами. Вот если бы можно было запросто постучать в любую дверь и сказать: «Здравствуйте. Я шла мимо и увидела свет. Я очень устала. Давайте посидим на вашей кухне, попьем чаю и поговорим». Войти в тепло, взгромоздиться на табурет, намазать блинчик малиновым вареньем. И выложить всё, что мучает. Как в поезде – чистосердечно, потому что случайно.

Но вместо этого угадываю на обочине чуть изогнутый силуэт водопроводной колонки. Жму на рычаг, припадаю ртом к ледяной струе. Наверняка разболится горло, и ладно. Пусть ангина, чтобы Ма посуетилась с градусником и антибиотиками. Теперь её очередь. А я отдохну. Правда устала, так сильно, что еле ноги волочу.

«Бог, я дошла».

«Я не сомневался».

«Я - умница?»

«Ещё нет».

«Почему?»

«Всеми своё время».

«А поподробнее?»

«Рано».

«Не скажешь? Ну как хочешь. Тогда пока».

«Удачи».

Возле подъезда стоит машина отца. Вверху лобового стекла радостно мигает маячок сигнализации. Привет! Хотя, погоди, надо убедиться, что ты не чужая. Заглядываю в салон, хорошо, что над подъездом яркий прожектор. Под зеркалом заднего вида знакомая иконка, на приборной доске отцовские очки в тонкой оправе. А вот серебристый мобильник не его. Может, новый? Чехол с бабочками, это ж надо! Обязательно подколю при случае. И барсетку забыл на заднем сидении, торопился.

Я тоже тороплюсь. Взлетаю по лестнице, распахиваю дверь и вижу отца. И Ма с причёской, макияжем и сладкой улыбкой. И сама улыбаюсь как ненормальная.

- Ты куда в ботинках? – мрачнеет Ма. – С тебя грязь кусками валится! А пальто? Ты что, на животе ползла?

- Да ладно, брось, - вяло заступается отец, - уберём.

- Я уберу, - уточняет Ма с нажимом на «я», - только этим и занимаюсь. А ей наплевать. Носится целыми днями непонятно где с этими своими юродивыми, учиться не хочет, никого не слушает. Вот, пожалуйста, развернулась и пошла, будто я не с ней разговариваю!

Вообще-то не со мной, но не суть. Ей не объяснишь, тем более - сейчас. Похоже, отец капитулировал и принял все условия Ма. И наверняка уже не раз извинился. Вот она и ходит царицей. Ну да, в ванну я сегодня не залезу, потому что там миллион алых роз. Розам ванна нужнее, завянут же. А я могу хоть в окошко прыгать, невелика потеря.

21

Утро начинается в обед. Если верить часам, а они показывают двенадцать с минутами. Небо за окном похоже на грязный лежалый снег, какой бывает ранней весной на обочинах оживлённых трасс. Слишком светлое для ночного. Значит, это всё-таки не полночь, а моё утро.

Хочу пить, но для этого надо встать, а я и дышать толком не могу. Горло забито стекловатой. Кто-то разодрал его колючей проволокой и засыпал солью. Кто-то положил меня на дорогу и несколько раз переехал трактором. Кто-то очень жестокий. И всё же встаю и толкаю себя к двери. Заперто.

Правильно, это я вчера закрылась. Ма и отец по очереди дёргали ручку, требовали, чтобы впустила. Отец вещал о важном разговоре, Ма хотела выяснить, не принимаю ли я наркотики. Наркотики – замечательное решение, даже лучше юношеского максимализма: «Нет, что вы, я хорошая мать, просто неизвестные подонки пристрастили ребёнка к отраве, вы же понимаете, дурное влияние улицы, так страшно жить».

Надо спросить у отца, может быть Ма у него не вторая жена, а третья? А я – ребёнок от секретного второго брака, то есть она мне – мачеха? Это бы многое объяснило.

Сухо щёлкает замок, и я тащусь по коридору. Давно, лет десять назад родители смотрели ужастик про обгорелого маньяка с ножами на пальцах, а я не спала - пряталась за дверь и подглядывала. И был там особенно страшный момент, когда посреди школьного коридора стояла мёртвая девушка, завёрнутая в полиэтилен, а потом упала, и невидимая

сила потащила её по полу. Вот так же я волоку себя на кухню, чтобы попить воды. И, кажется, даже различаю шелест целлофана, который трётся о линолеум.

Нет, я иду ногами. На мне вчерашние джинсы в слякотных пятнах, измятая футболка. Даже с заложенным носом чувствую кислый душок от неё. Значит, не переделалась, так и заснула.

В кухне горит электрический свет. Мерзкий, острый. Ма стоит ко мне спиной, что-то нарезает. Нож ударяется о разделочную досочку: «тан-тан-тан». На Ма домашнее платье и шлёпанцы с невысокими каблуками-рюмочками. «Тан-тан-тан» - её каблуком в мой левый висок. Берусь за ручку чайника, чтобы налить тёплой воды, но он слишком тяжёлый. Чайник греется обратно на плиту, Ма вздрагивает, резко оборачивается и начинает орать:

- Ты что творишь?! Перепугала до смерти!

- Гр-р-рх, - хриплю я, гортань словно кромсают напильником.

- Прокашляйся, - требует Ма.

Не могу. Одной рукой держусь за шею, второй показываю на чайник.

- Чем от тебя несёт? Гадость! Ты что, пила вчера?!

- Хр-р-р, - дай воды, тупая курица!

Ма наконец понимает, что ничего не добьётся и раздражённо хлопает дверцей шкафчика. Достает чашку, наливает тёплой воды и протягивает мне.

Тихонько, мелкими глотками, вот так.

- Я заболела, - голос у меня низкий, чужой. – Налей ещё, больно.

Она дёргает головой, словно прогоняет муху, и поджимает губы. Но снова наполняет чашку. Потом трогает мой лоб и отдёргивает руку:

- В постель, - командует Ма. – Быстро!

А потом я сплю. Опускаюсь на дно круглого аквариума и замираю там, чуть шевеля плавниками. Вокруг тёмная вода, плотная, приятная. Иногда через неё пробивается голос Ма, хватая меня и вытаскивает на поверхность. Глотаю таблетки, давлюсь тёплым чаем и снова погружаюсь в тишину. И так раз за разом.

- Давай, просыпайся. Я бульон принесла, слышишь?

С усилием разлепляю один глаз, потом второй. Мягко горит ночник, шторы задернуты. Провожу языком по пересохшим губам, будто древесную кору облизываю.

- Во-о-от молодец. Приподнимись.

Ма помогает, тянет подушку вверх, чтобы я могла опереться на неё спиной.

- Возьми чашку.

Двигаю край одеяла, достаю руку. Она белая, удивительно тонкая и слабая. И вторая такая же. Не руки, а лапки насекомого. Но чашку держат.

- Пей. Нет, надо! Хоть половину!

И снова таблетки. Градусник противно холодит подмышку.

- Ну как? – спрашивает из дверного проёма отец.

- Вроде получше. Только бы не вирус, она же меня заразит, - драматично шепчет Ма.

– А я в положении!

- Иди, я тут сам. И посуду помою. Отдохни.

Ма только это и надо.

Отец присаживается на край кровати и грустно качает головой:

- Угораздило же тебя.

- Это да, - хриплю в ответ.

- Очень плохо?

- Нормально.

Он молчит. Я не вижу его лица, только углы и тени. Это из-за ночника. Пауза затягивается, чувствую, что начинаю проваливаться в сон, когда отец вдруг говорит:

- Ты уже знаешь, что у нас с мамой будет ребёнок?

- Угу.

- Что думаешь?

- О чём?

- Об этом. О нас.

Интересно, а вы о чём думали, когда не предохранялись? Точно не обо мне.

- Ничего.

- Совсем? – не отстаёт отец. И снова замолкает, стараясь подобрать верные слова. –

Может, тебе неприятно, что так вышло?

Опять за меня цепляются жалкие беззащитные ручонки. Ему очень нужно, чтобы кто-то одобрил, убедил, что всё правильно, что младенцы – это всеобщее счастье. Только я причём? Хоть сейчас отвяжитесь.

- Я смирилась, - говорю. – Буду спать.

- Да, отдыхай, - подхватывается отец, но не выходит, кладёт что-то на стол. – Я тебе плеер принёс. Хороший. Парень в магазине сказал, что у этого самый чистый звук. И диск

при ходьбе не соскакивает. Даже бегать с ним можно. Наушники подобрали удобные. В общем, потом сама посмотришь.

- Дай сейчас.

- А диск?

- Там на полке. Возьми любой.

Он отворачивается, перебирает пластиковые коробочки, щёлкает одной. Пару минут возится с плеером, потом кладёт его возле моей руки и надевает на голову наушники.

- Хорошо?

Киваю и закрываю глаза. Замечательно.

«Я исполняю танец на цыпочках, который танцуют все девочки», - поёт Настя Полева, и я танцую вместе с ней. Я танцую всю ночь, а утром хочу много еды, чая и на улицу.

22

Джим смеётся. Странно слышать его заразительный громкий смех в моей унылой комнате. Странно и здорово.

Джим позвонил утром, Ма сказала, что я болею, и к телефону не подойду. Потом заглянула ко мне. Я смотрела, как она вещает, но не спешила снимать наушники. Ма открывала рот под разухабистое: «Эй, ямщик, поворачивай к чёрту, новой дорогой поедem домой!» Хорошо получилось, лучше тухлых юмористических программ по телеку. Жаль, недолго. Музыку пришлось выключить, чтобы узнать о надоедливых звонках и о том, что из дома она меня не выпустит, пока не вылечит до конца. Ну да, конечно.

После обеда Джим позвонил снова, а потом понял, что легче прийти. Могла ли Ма его не впустить? Нет, никаких шансов. Потому что Джим заболтает кого угодно. Она и сама не поняла, как высокий громкий парень оказался в прихожей, быстро расшнуровал берцы и сбросил косуху, будто так и надо. Ма уставилась на портрет Легенды на его балахоне и на ярко-красную надпись: «Дурень».

- Кто из вас? - чуть заторможено спросила она.

- Что? - не понял Джим.

- Дурень. Кто из вас: ты или вот этот на картинке?

- А-а-а! Мы оба, - Джим тряхнул волосами и добил её лучезарной улыбкой.

Он рассказал, что пока меня не было, наши тусовались на квартирнике у панков. Все кроме Спринги, которая зачастила к Тим Санычу. Каша бесится, потому что не может

понять, что у них за тайны. А она только глаза под лоб заводит и многозначительно усмехается. Бабка Будды познакомилась с Кратким и Эмани, и те заторопились в Москву. Собираются отчаливать на днях. Сам Джим раздобыл умопомрачительную музыку, группа называется «Ленинград». Сплошная нецензурщина, но не гопота какая-нибудь, а реальное веселье. Нет, диска нет, только кассета. И слушать надо по-тихому.

Принесли из кладовки маленький кассетник, зарядили, приникли к колонкам. Так и вышло, что я начала подхихикивать, а Джим хохотать в голос.

- У вас всё нормально? – заглядывает в комнату Ма. Словно мы не смеёмся, а орём друг на друга и ломаем мебель.

- Музыку слушаем, - нажимаю «стоп» и делаю скучное лицо.

- А что так тихо?

- Это Янка, Ма, включить погромче?

- Нет, спасибо. От её воя хочется удавиться, - Ма ещё раз подозрительно оглядывает комнату и прикрывает дверь. Неплотно, оставляет щёлку. А то мало ли что.

- У неё такой вид, будто я тебя съем, - хмыкает Джим.

- У неё такой вид, будто она сама наелась. Лимонов. Или напилась уксуса, - поправляю я. – И так всегда, без праздников и выходных. Противно быть такой.

- Не будь.

- Легко сказать, но наследственность - штука реальная, учёные доказали.

Подхожу к окну, отдёргиваю штору и смотрю на первый снег. Он сеется из низкого сумрачного неба, словно пудра, падает в лужи и растворяется в них. Первый снег умирает быстро, такая его судьба.

- Вот и снег, - говорит Джим. В его голосе не осталось тепла, только лёгкая грусть.

Не вижу Джима, но чувствую. Он стоит за спиной, очень близко, но не касается меня. От него пахнет мятными леденцами. Совсем слабо, но я различаю их аромат. И хочу, чтобы он положил руки на мои плечи.

- Рано в этом году.

Да, рано. Хотя, я помню, как пару лет назад снег выпал в начале сентября. Деревья стояли зелёные, крупные снежные хлопья падали прямо на густую листву. Ночью. Утром город выглядел разорённым, будто пережил стихийное бедствие. Ветки не выдерживали тяжесть заснеженных листьев. Падали тонкие молодые деревца, ломались стволы старых клёнов и тополей. Улицы были завалены ими. Тот снег истаял уже к обеду, но успел натворить бед. Этот не такой. Он слабенький, обречённый, жалкий.

- Хочешь, я тебя украду? – невпопад спрашивает Джим.

- Хочу.

- Прямо сейчас.

- Нет, я скажу когда, только не подведи, - отшучиваюсь я.

- Обещаю, - не шутит он.

И я думаю, что могу ему доверять. Пожалуй, только ему и могу.

Ма ждёт гостей. Стол накрывает в кухне, значит, большой банкет не предвидится. Выплываю из своей комнаты, великодушно помогаю нарезать салаты. Джим ушёл, а мне до сих пор светло. Такой уж он человек.

Ближе к вечеру в облаке влажного уличного холода и едва различимого аромата оранжерейных цветов является отец. С очередным букетом. Ма уже навела красоту, разложила закуски по тарелкам, запекла кусок отборной вырезки с яблоками и черносливом. Бокалы натёрты и блестят, столовые приборы на местах, полотняные салфетки замысловато скручены, чтобы «как в ресторане». Ма и отец воркуют, даже я излучаю лёгкое довольство. Не хватает только фотографа, чтобы запечатлеть всё это благолепие для рекламного каталога или просто на память.

- Ой, какая ты молодечик! Как всё красиво! – щебечет Инусик. Она только что вошла, расцеловала Ма в обе щеки, а её супруг вручил букет. Да, ещё один.

Взрослые рассаживаются, пристраиваюсь в уголке. Обычно я их сторонюсь, но сегодня готова сделать исключение.

Ма кокетничает, отказывается от вина, картинно складывая ладошки на животе. Инусик рассыпается в поздравлениях. Её муж пошловато хохмит, называет отца настоящим мужиком и предлагает Инусику тоже поработать над созданием младенца.

- Ну котя, - тянет она, притворно смущаясь.

Он щерит прокуренные зубы и опрокидывает в себя вторую рюмку коньяка. Я смотрю, как дёргается кадык на жирной щетинистой шее. Котя, надо же. Скорее, рассвиначенный медведь, которого ради смеха нарядили в дорогой костюм и украсили золотыми часами.

- А вообще, это такая радость! – восклицает Инусик. – Правда же?

На волне восторга и алкогольного градуса она поворачивается ко мне:

- Вот, и ты стала на человека похожа, причесалась, похорошела. А мы боялись, что начнёшь психовать и вены резать, или что вы там ещё творите, когда выделяется?

Откладывая в сторону бутерброд с красной рыбой и сладеньким голоском спрашиваю:

- Кто – мы?

- Вы... - она заглатывает остатки вина из тонконого бокала, закусывает и продолжает вещать с набитым ртом. – Эти, как правильно? Малолетние панки.

- Панки воняют, потому что не моются, – вклинивается Котя.

- Мы не панки, - я смотрю на него в упор. Инусик дура, на неё жалко и два слова потратить. Он тоже не похож на интеллектуала, но взгляд более осмысленный.

- А кто?

- По-разному. Неформалы.

- И что вы такое необычное делаете? – Котя заинтересовался: тема младенцев ему наскучила, а тут что-то новенькое.

- Ничего не делаем.

- Обычные ребята, - мягко поясняет отец, - как все. Ну, эпатируют, одеваются броско, ничего особенного.

Он что, меня защищает? Адвокат нашёлся.

- Нет, - говорю Коте, - мы - не все. Мы умнее.

- И скромнее, - поддевает Ма.

Инусик прыскает.

- Значит, ты умнее меня? – уточняет Котя.

Разговор становится увлекательным.

- Скорее всего.

- И почему же?

- Потому что много читаю, слушаю настоящую музыку, общаюсь с мыслящими людьми и не позволяю себе хамских шуток про беременность, - с милой улыбкой говорю я.

- Знаешь, это невежливо, - шипит Ма.

- Зато правда.

- А вот мне интересно, - не унимается Котя. – Почему ты считаешь свои книги правильными и музыку настоящей? И вот этих своих людей - таких же, как ты, да? – мыслящими? Я сейчас мало читаю, а раньше, например Достоевского и Куприна любил. Это нормальная литература? А джаз тебе как? Тома Вэйтса знаешь? Или он – бездарь?

Котя всё больше распаляется, Инусик и Ма озабоченно переглядываются.

- Ладно, давайте выпьем за здоровье малыша, - предлагает отец.

- Нет, пусть она ответит, - Котя обтирает салфеткой потное лицо, - а потом выпьем.

Так скажи мне, самая умная девочка на свете, что такого необыкновенного в тебе и твоих малолетних панках?

- У нас своя культура и философия, - не ведусь на сарказм и продолжаю излучать дружелюбие.

- Да ну? И в чём суть вашей философии?

- В свободе.

- Вы что в тюрьме? Или вас притесняют?

- Нет, я о настоящей свободе.

- Это как?

Ёлки-палки, разве можно объяснить настолько очевидную вещь? Что ему от меня надо? Ведь и ежу понятно. Свобода – это свобода!

- Сами знаете, - говорю.

- Знаю, - соглашается он. – И тебе расскажу. Ваша свобода – это чужие пафосные слова про смысл жизни, которые вы талдычите как попугаи, и считаете признаком ума. Но это не главное. Главное, чтоб костюмчик сидел, так? Куртку с заклёпками, портки дырявые, армейские ботинки, что ещё? А кроме шмотья и песенок за душой у вас - ноль. Не, ты не обижайся, это нормально, со всеми сопляками бывает. Мы вот в своё время мушкетёров изображали, как в кино с Боярским. Изображали ведь? – кивает он отцу.

- Я был индейцем, - отец старше лет на десять. – Фильмы с Гойко Митичем помнишь? Вот таким немногословным деревянным индейцем.

- Конечно помню, - лыбится Котя.

Они пьют, едят и увлечённо обсуждают своё старьё. На меня можно не размениваться, эту тему закрыли. Как всегда, ничего нового. И всё-таки злюсь. Я могла объяснить, если бы очень постаралась. Но для этого пришлось бы назвать Котю ничтожеством. Потому что опустил, раскабанел, упёрся лбом в бумажник. И живёт с безмозглой скучной бабищей. Все её интересы сводятся к сплетням и глянцевым журналам. Ах, да, забыла про блестящие цапки.

- Последняя модель, - хвастается Инусик, - мечта, а не мобилка.

Ма вертит в пальцах серебристую трубку. Мда, футляр с бабочками. Конечно, это же Инусик. Футляр с бабочками...

- Тётя Инна, - неотрывно гляжу на телефон, - Где вы его купили? Мне тоже надо.

- Ой, нет, не получится, - важничает она, - Котя его из командировки привёз. У нас таких нет. Редкая вещь.

- А это что? – Ма нажимает кнопку, экранчик вспыхивает. Инусик придвигается ближе, и они сидят голова к голове, словно дети над новой игрушкой.

- Это электронная почта, – тычет в экран Инусик. - Значок интернета, видишь? Но я не научилась пока, сложно и очень дорого. Это картинки, вот классная да? Такой пёсик милый. А это... как его? Котя, что здесь такое?

- Дай гляну.

Инусик протягивает трубку через стол. Привстаёт, наклоняется над бокалами и тарелками, задевает отца плёчом. Тот подаётся назад и бросает быстрый взгляд на Ма. Берёт её за руку, заботливо спрашивает, как она себя чувствует. Актёр, блин. Меня сейчас стошнит от его лицемерия. Нет, ребята, хватит вранья.

- Тётя Инна, - неестественно высоким голосом выдаю я, толком не понимая, что и зачем делаю, - вот вы говорите, телефон у вас редкий, а я такой же у папы в машине видела. На той неделе, когда он из командировки вернулся. Прямо копия. Или это ваш был?

- Нет! – пугается Инусик.

- Да, - глухо отзывается отец.

И делают они это одновременно. Вспыхивают, возмущённо смотрят друг на друга, а Котя и Ма смотрят на них. Воздух над столом становится густым. Неподвижным. Мы все в нём тяжелеем и замедляемся.

- Неожиданно, - усмехается Котя.

- Я подвозил Инну, так получилось, - говорит отец, будто о пустяке.

И опять сидят, как истуканы. Долго. И я с ними, жду продолжения.

Котя вздыхает и смотрит на Ма:

- Салат вкусный, с чем он?

- С мидиями, - рассеяно отзывается та.

- Так я и думал. А Иннка с кальмарами делает, гадость редкая. Ты ей дай рецептик.

- Обязательно.

Инусик швыряет на стол вилку, обжигает Котю яростным взглядом и идёт в наступление:

- Да, мы встретились. Один раз. Это была моя идея. Потому что кто-то уехал от беременной жены, и ему надо было вправить мозги. Я помочь хотела!

- Молодец, - мрачно одобряет Котя. С таким же успехом он мог назвать её идиоткой.

Ма брезгливо отворачивается. Не верит.

- Знаете, я устала, прилечь надо, - бормочет она. - А вы оставайтесь. Пейте, ешьте, веселитесь. Всё в порядке, просто подташнивает немного.

Но тут оказывается, что у гостей неотложные дела, и кухня пустеет. Никаких долгих прощаний в коридоре, посошков, лобызаний и народных песен пьяными голосами. Одна я сижу за накрытым столом и прислушиваюсь к звукам в родительской спальне. А их нет. Ни жалоб, ни криков, ни обычного разговора. Ти-ши-на. Жуткая и неправильная.

24

Ма и отец отмалчиваются. Не разговаривают друг с другом, избегают меня. Они всегда были не слишком общительные, но молчали легко, буднично. Сейчас всё иначе. Квартира словно съёжилась, заросла хламом, стала меньше и темнее. А сами они вялые, нездоровые. Не ходят, а пересекают линию фронта мелкими перебежками, и вокруг каждого – тёмное облако. И дышать рядом с ними нечем. Не семья, а душегубка.

Иду к Будде в надежде отогреться, там мой настоящий дом. Эмани с Кратким наверняка уехали, и всё хорошо, как раньше. Будда станет слушать музыку, вытянувшись в рост на старом диване, а я на него смотреть. Заберусь с ногами в кресло, выброшу из мыслей лишнее, прикрою глаза чёлкой и сделаюсь обычной собой. Никем. Уютным и счастливым существом. Без тоски и смутной тревоги.

- О, привет! – дверь открывает Каша. Заглядывает мне за спину, огорчается. – Спринга не с тобой?

- Нет, а должна?

Он впускает меня и остаётся в прихожей, смотрит, как снимаю пальто и ботинки. Хочу пройти мимо, но Каша не пускает, загораживает проход. Его пухлое лицо отвердело, заострилось и больше не кажется мягкой мультяшной физиономией. Вместо обаятельного добряка передо мной стоит унылый парень, страдающий от лишнего веса и, судя по тусклым покрасневшим глазам, от недосыпа.

- Чего тебе? – спрашиваю.

- Ты давно её видела? – он говорит тихо, и я неосознанно понижаю голос.

- Спрингу? В «Мутном глазе», мы там все были.

- Ну да... а потом?

- Что потом?

- Она не звонила?

- Нет. А что случилось?

- Может, и ничего. Только она в последнее время часто бывала у Тим Саныча, скрывать, намёки туманные строила. А теперь совсем пропала.

- Ты дома у Спринги был?

- Три раза. Предки говорят, нет её. Я полночи перед их калиткой просидел, хотел застать, когда она явится, но не дождался.

- А к нему ходил?

- Ещё бы. Саныч не отзывался, хотя было слышно, что за дверью стоит. Но я всё равно ходил. Потом мне это надоело, начал орать, что подожгу дверь. Он и выполз. Маразм у него: меня не узнал, Спрингу не помнит.

- Вот засада! - говорю.

- Это точно, - соглашается Каша.

- А Чепа?

- Фиг знает. Он папашу не хочет обсуждать. Да и видимся редко. То одно, то другое.

- Ясно, - пытаюсь протиснуться в квартиру, к Будде, но Каша стоит мёртво – мышь не проскочит, муха не пролетит.

- Слушай, я не знаю, где искать Спрингу. Клянусь.

- Сходи к ней, пожалуйста, - просит он.

- Зачем?

- А вдруг она обиделась и только меня видеть не желает?

Блин, сколько можно-то?! Мне всё равно, какая дурь зашла в башку Спринге, отчего страдает Каша, чем занят Чепчик и насколько протухли мозги Саныча. Надоели. И отец с Ма, которые глядят с укором, будто я виновата в их младенцах и тайных встречах на стороне. Чтоб вы все пропали, дайте мне немного покоя! Мне надо к Будде! Я просто побуду с ним рядом, просто посмотрю на него, здесь, в моём маленьком убежище, а потом хоть трава не расти. Хорошо?

- Хорошо, завтра, - смиряюсь я.

- Точно?

- После школы поеду к Спринге. Что там Будда делает?

- А его дома нет, - Каша делает шаг в сторону, чтобы я могла пройти, но не двигаюсь с места.

«Вот шахматный король, а вот бубновый туз, скажи мне кто из них победит», - доносится из кухни вкрадчивый голос Легенды. Нежный гитарный перебор смешивается с позвякиванием посуды и шумом воды, бегущей в жестяную мойку. Стучит ложка о чугунный край сковороды. Одурающе вкусно пахнет жареной картошкой.

Каша рядом. Спринга пропала. Джим вышел бы поздороваться сразу. Кто же там?

- Кто там, бабка? – спрашиваю и сама себе не верю.

- Стал бы я с ней тусить, - хмыкает Каша. – Эмани хозяйничает.

Эмани стоит у плиты спиной к нам. Топ в обlipку, обрезанные джинсы с бахромой понизу такие короткие, что когда она тянется к шкафчику над раковиной, видны полукружья ягодиц. Волосы собраны в неряшливый хвост на макушке. На полной шее синяя татуировка – «Аmanі» готической вязью. Бледные ноги в мелких красноватых пятнышках, какие бывают после бритья, красная нитка на запястье, тонкие шрамы. Эмани. Она оборачивается:

- Это ты? Я думала, Будда с Джимом вернулись. К бабке на дачу подались: она перестановку затеяла, попросила помочь. Каша чуть-чуть не успел, а то бы и его припахали. Ужинать будешь?

Отказываюсь. С грохотом двигаю табурет.

- И Краткий с ними? – спрашиваю.

- Нет, он же уехал.

- Куда?

- В Москву.

- Без тебя?

- Ну да.

- А разве вы не... не встречаетесь?

- Уже нет.

- Почему?

- Потому что это теперь, хм, не актуально.

Она ловко мешает картошку. У меня вечно всё валится на пол, и жир летит во все стороны. Эмани готовка даётся легко. И не только готовка: плита блистает чистотой, на кафеле ни пятнышка, с пола можно есть. Даже вечно недовольная педантичная Ма («Я не зануда, а перфекционистка!») не настолько чистоplotна.

«Это условие, - жизнерадостно делится Эмани – мы так с бабкой Будды договорились».

Бабка поначалу затеяла скандал, мол, развели бордель на чужой жилплощади, но потом ничего, оттаяла. Вот Эмани и решила остаться. Вроде домработницы или квартиросъёмщицы. Но не за деньги. С неё - чистота, порядок и присмотр за Буддой. А то ходят к нему всякие, недавно в ванной женские трусы нашлись («Красные кружевные, представляешь?!» - хихикает Эмани). Так что она постережёт парня от профурсеток и наркоманов. Она ведь старше и умнее. А с бабки – добросердечное отношение и продукты. И все довольны. А Москва?.. Москва, Арбат и хиппари - тоже неплохо, но сколько можно кочевать? Эмани на год вперёд бродяжьей романтикой наелась. Тем более, сейчас зима, самое время обмещаниться.

Она зажигает газ под чайником, режет хлеб, расставляет тарелки и говорит, говорит, говорит. Каша согласно кивает. Я нет. Меня словно парализовало.

Мысленно кричу от того, что чужая белобрысая деваха влезла на мою территорию. И не просто, а вросла в неё обеими ногами. Наглая пролаза, подлая бродяжка заняла моё место в этом доме, возле этой плиты!

Но тс-с-с, погоди, успокойся. Это не катастрофа, ерунда, всё наладится. Я зря переживаю. Эмани – временное явление, Будда – навсегда. Придётся смириться и потерпеть. Потому что идти мне всё равно некуда.

25

Фига заходит в класс на уроке истории. Я сижу за второй партой у окна, низко опустив голову, и методично закрашиваю клетки в тетради. Одну за одной, густой чёрной пастой. Больше половины листа замазано – глянцевитое чернильное пятно. Взгляд расфокусирован, сознание отключено, рука движется сама собой: вперёд-назад мелкими штрихами. Время округлилось и замкнулось в шар. Девочка в нём легла на бок и уснула. Она стала похожа на эмбрион, скрюченное безголосое существо, плавающее в невесомости. У Ма пока не такой ребёнок, слишком мал. Её живот плоский, в нём не уместится космос.

Будда молчит, Ма молчит, отец молчит, я молчу, все молчат. Уже привыкла. Поэтому молчание исторички не кажется странным. Упускаю тот момент, когда она перестаёт бубнить, а класс – шептаться, ёрзать, вздыхать и шелестеть страницами. Не поднимаю лицо, не отбрасываю назад чёлку, не вижу Фигу. Но потом, задним числом, зримо представляю её обвислую бледную физиономию с выражением лёгкого отвращения.

Вот она открывает дверь, кивает историчке, обводит класс неспешным немигающим взглядом и останавливается на мне. Демонстративно покашливает и, не дождавсь реакции, держит курс на вторую парту у окна. Каблуки её тупоносых коричневых туфель глухо постукивают – слишком тихо, чтобы я насторожилась. Резиновые набойки. Фига не подкрадывается, нет, но её трудно заметить заранее.

Свёрток в полиэтиленовом пакете шлёпается на парту, аккуратно на закрашенные клетки. Тоже чёрный. С красной надписью: «Спасибо за покупку!» Я отупело трогаю пакет пальцем, и он отзывается тихим шелестом. Фига стоит в проходе со скучающим выражением лица.

Надо бы встать, но остаюсь сидеть. Не нарочно, а по причине сильного недоумения - ей удалось заставить меня врасплох.

- Я звонила вашей матери по поводу школьной формы, - говорит Фига без каких-либо эмоций, просто ставит в известность. - Она отказалась прийти для беседы по причине слабого здоровья и сообщила, что сейчас не имеет желания заниматься этой проблемой. Поэтому ею занялся педколлектив. Мы дарим вам юбку. Переоденетесь на перемене.

- Нет, - говорю я.

- Нет?

- Нет.

- Вы напрасно считаете, что чем-то отличаетесь от остальных. И ваши родители напрасно игнорируют дирекцию школы. Можно подумать, деньги и статус дают им особые права. Ничего подобного, не всех можно купить. И вы это поймёте, не сомневайтесь, - она не угрожает, обычная рутина. – Когда переоденетесь, зайдите в мой кабинет.

Фига царственно удаляется. Стоит ей переступить порог, одноклассники разом втягивают весь воздух в лёгкие и через мгновение возвращают его наполненным выкриками и смешками. Голоса отскакивают от стен, взмывают к потолку, кружат надо мной. Историчка даёт им немного порезвиться и хлопает в ладоши, пытаясь вернуться к теме урока. Я закрашиваю тетрадный лист. Стержень ручки скрипит, чёрная штриховка равномерно покрывает сегодняшнее утро.

На перемене первая выхожу из класса, пакет остаётся лежать на парте. Это не моё, а за чужие вещи я не отвечаю. И на следующие два урока не остаюсь.

Спринга живёт в частном секторе недалеко от Лысого. Я бывала у неё раньше, но всё равно слабо ориентируюсь в этом районе. Маленькие кирпичные домики слишком безлики, одна улица неотличима от другой. Петляю по узким неасфальтированным дорожкам, вглядываюсь в заборы, палисадники и высокие крылечки, стараясь найти хоть что-то знакомое. И нахожу.

Псину зовут Цезарь. Здоровенная лобастая овчарка истерично лает и бросается на забор со стороны двора, пытаюсь его проломить. Слышно, как волочится цепь, и я в который раз надеюсь, что она выдержит. Пёс захлёбывается злобой, блестит сумасшедшими глазами, оглушает. Ненависть в чистом виде. Спринга как-то жаловалась, что соседи подбрасывают Цезарю отраву, но я понимаю злоумышленников и искренне им сочувствую. Придурочная зверюга лает на каждого, кто проходит мимо. И пугает до седых волос.

Осторожно подбираюсь к калитке и жму на электрический звонок. Раз, другой, нет ответа. Цезарь исходит злобой и начинает хрипеть. Колочу в калитку ногой и снова жму-жму на кнопку.

- Заткнись! – орёт мать Спринги то ли мне, то ли псу. – Заткнись, скотина!

Цезарь сбавляет обороты, но продолжает вяло огрызаться, навалившись грудью на забор.

- Пошёл вон! – не мне.

- Чего трезвонишь?! – а это мне.

Мать Спринги останавливается на бетонной дорожке за калиткой и не приглашает войти. Короткие волосы оттенка «баклажан» торчат как попало, худое безбровое лицо не накрашено, в руках кухонное полотенце. Она машинально обтирает ладони. Блестят золотые перстни – по два на палец, переливаются рубиновыми камнями. Я быстро оглядываю её розовый спортивный костюм с вытянутыми коленками и тапки тигриной расцветки. Неужели Спринга когда-то будет похожа на эту тётку? Невозможно.

- Ну?

- Спринга дома?

- Спринга, - передразнивает она. – И чего я мучилась, имя ей выдумывала в роддоме? И в документах Мариной записывала, а?

- Марина дома? – исправляюсь я.

- Нет, шляется где-то твоя Марина. Толстый раз сто приходил, спрашивал. Теперь ты. Поругались?

- Вы ей не передадите, что Никто просила позвонить?

- Кто?!

- Никто.

- Ещё лучше. Ну не слабоумные? – мать Спринги возводит очи к небу.

- Передадите? – ещё раз спокойно уточняю я.

- Да передам, что мне трудно? Так и скажу: «К тебе приходили. Кто? Никто»! Прямо анекдот, прости господи.

- Спасибо, до свидания, - я стараюсь быть вежливой со всеми людьми. Даже если они этого не заслуживают. Ну, или хотя бы не грубить, если не вынуждают. В конце концов, я не бешеная псина, и это радует.

Цезарь снова заходится низким отрывистым лаем, чтобы напомнить, кто тут главный. Однажды у отравителя получится доброе дело, будет счастье всем жителям улицы. Но это потом.

А пока мне держать ответ перед Кашей. Только сказать нечего. Шляется где-то, и все дела. У Тим Саныча? Вряд ли. Когда мы встречались в последний раз, выглядел он неважно. По рассказам, сейчас намного хуже. Что в тот день говорила Спринга? Саныч обещал ей книжку, любовную чушь про персики. А потом мы виделись в «Мутном глазе».

Я снова блуждаю среди маленьких одноэтажек. Хлюпают под ногами лужи, густая жирная грязь комьями облепила подошву. И пальто придётся чистить. В воздухе стоит морось, сырой холод пробирает до костей. Поднимаю воротник, прячу руки поглубже в карманы. Надо выйти к трассе, а там поймать маршрутку. Только я понятия не имею, в какой стороне большой мир. Спросить не у кого - двери, калитки, ворота – всё на засовах, не докричишься. И за это тоже не люблю частные домики: вроде люди вокруг, а на деле хоть умирай в конвульсиях, не помогут. И собаки ещё. Но с Цезарем им не сравниться.

Останавливаюсь и собираюсь с мыслями. По идее улицы параллельны. Назад я не поверну, потому что настоящие герои всегда идут вперёд. Значит, нужно топать к следующему перекрёстку и поворачивать там. И к следующему. И снова поворачивать. И опять. Знать бы, сколько их было. Ещё попытка. И ещё. Трасса! Приятно понимать, где находишься, и я так рада, что улыбаюсь знакомой вывеске.

Раз уж нелёгкая удивительным образом вынесла меня к «Мутному глазу», так тому и быть, хоть согреюсь.

В пивнухе пусто, тусклый свет обтекает обшарпанную барную стойку, но не добирается до углов. Посетителей нет, и я на секунду сомневаюсь, что не ошиблась

адресом. Дешёвый каба́к, самое дно. Причём коптит на последнем издыхании, даже бичам и забулдыгам не нужен. Трудно поверить, что здесь собираются наши, рвут струны, бьют стаканы и сотрясают стены истошными воплями. Только запах не изменился – застарелая вонь табака и немытого тела.

- Заблудилась?

За столиком в дальнем углу перед переносным чёрно-белым телевизором развалился блёклый тип в майке с фото ребят из «КиШ». Ма назвала бы его крысёнышем: мелкие дробные черты лица, слабый скошенный подбородок, жидкие волосёнки и непомерно раздутое самомнение.

- Подругу ищу, - подхожу ближе. – Высокая, рыжая, Спрингой зовут.

- А-а-а, - тянет он. И не говорит, а выплёвывает: – Эта.

- Знаешь её?

- Бывает у нас, ага. С Киксом и Мелей. И с другими иногда. Но чаще с Киксом. Ничего так, покладистая, - гаденько ухмыляется он. - А тебя не знаю, но тоже приходи, раз подруга.

- Может быть, - говорю. – Передай, что я её искала, ладно?

- Если не забуду.

- Спасибо.

- Эй, как придёшь, спроси Енота. Это я! – кричит он вслед.

Не отвечаю. Не спрошу.

Нарочно опаздываю на первый урок. Долго продираю глаза, потом с полчаса сижу в душе под струями горячей воды, чтобы согреться. Отопление уже подключили, но батареи еле тёплые. Валандаюсь по коридору, закутавшись в махровый халат. Отец уже укатил на работу, Ма не высовывается из своей норы, не подгоняет. Состояние здоровья, так она Фиге сказала? Любимая отговорка. Хотя Ма и правда похожа на больную. Расплющенную. Почти не встаёт и не ест. Дуется на отца. Ну и токсикоз накрывает видимо, я слышала о таком.

Когда подгребаю к школе, у крыльца пусто. Толпа курящих старшеклассников рассосалась, значит, опоздала я качественно. Тяну на себя тяжёлую дверь, шагаю в полумрак холла, отпускаю и вздрагиваю, когда створка громко хлопает из-за тугой пружины. Всякий раз загадываю не дёргаться, но всё равно вжимаю голову в плечи. Похоже

на выстрел. А Фига похожа на Фигу. Стоит возле раздевалки, ждёт. Пару секунд разглядываем друг друга: я – её мешковатый брючный костюм невнятного синюшного цвета, она – моё распахнутое пальто, узкие джинсы, чёрную толстовку с надписью «Zombie» и алыми кровавыми кляксами на груди. Не одобряет, и это взаимно.

Дверь снова грохочет, когда выхожу на улицу. Просто разворачиваюсь и выхожу, потому что обсуждать с Фигой нечего: выслушивать нотации я не в настроении, оправдываться тем более не стану. Обойдётся. На сегодня с учёбой закончено.

А день хороший, до чего хороший день! С утра подморозило, и земля стоит звонкая, присыпанная лёгким инеем. Небо прозрачное, почти бесцветное, лишь оттенённое голубым. И никаких осточертевших туч. Бреду через парк, иногда останавливаюсь, чтобы разбить каблуком тонкую корочку наледи. От этого день хрустит яблоком, рассыпается стеклянной крошкой. Идти бы так вечно, но шмыгаю носом и чувствую, как задубели пальцы на ногах – ещё немного и отломятся с певучим хрустальным звуком. Домой, под одеяло!

- ...скринниг...скрин-ниг. Анализ такой, – голос Ма из комнаты. Не говорит, а булжники ворочает. – Да, обследовалась. Это все делают на ранних сроках.

Не двигаюсь, даже рюкзак не снимаю с плеча. Её тон настораживает. В каждом слове крик – зажатый, стиснутый, не умеющий прорваться.

- ...это точно, я перепроверилась в частной клинике... нет. Ты вообще слушаешь? – беседует по телефону.

- ...зачем тебе приезжать?.. не поможешь. Никто не поможет. Мама, пожалуйста, – с бабушкой.

- ...не знает. Конечно скажу... да, я в курсе, что тётя Люба – врач. Но она – кардиолог, что толку? Большая разница!

На лестничной клетке останавливается лифт, пронзительно лязгает металлом, выпускает соседку с ребёнком. Как громко! Вот я балда, проскользнула в квартиру и уши развесила, а двери настежь.

- ...я не одна, перезвоню, – скомкано прощается Ма. – Да, да, давай.

- Мам, сегодня рано отпустили, со школьной котельной непорядок, – провозглашаю я и начинаю расшнуровывать ботинки. – Жуткая холодина, задницы к стульям примерзают!

Нагло вру, но Ма это не важно. Она выплывает в коридор и пристально меня разглядывает. Делаю вид, что не замечаю, распутываю узел на шнурке.

- Ты давно здесь? – беспокоится Ма.

- Только пришла.

Позже улучаю момент и залезаю в её сумку. Это у других дам несерьёзные сумочки, а Ма любит объёмные баулы, но чтобы из натуральной мягкой кожи и обязательно с модным логотипом. Висит сумка в прихожей на вешалке, вполне можно порыться, не привлекая внимания. Утыкаюсь носом в душную серебристую шубу, перебираю кошелёк, перчатки, блокнот, косметичку... так, здесь ничего интересного. Посмотрим отделение с замочком.

Небольшая пластиковая папка, в половину альбомного листа. Документы сложены вдвое. То есть я догадываюсь, что это – документы. Под рёбрами слегка холодит от страха и предвкушения. Что будет, если Ма меня застукает? Ничего. Но воровать плохо, даже брать на время без разрешения – страшный грех. «Не укради» вбито в голову с раннего детства и, подозреваю, останется в ней навсегда. Если речь не о секундах, конечно.

«Отвали», - советую не ко времени проснувшейся совести, прячу папку под свитер и запираюсь в туалете.

Это Ма придумала, чтобы унитаз был чёрным, а кафель на стенах – красным. Дизайнерское решение, мы не совки, а независимые самодостаточные люди. Ага. Выглядит, мягко говоря, неожиданно, но человек ко всему привыкает. Сажусь на опущенной крышке унитаза, вникаю в записи и уже не слышу бормотания воды в трубах, мелодичного журчания в подтекающей бачке, собственного дыхания. Цифры, проценты, латинские буквы, сам чёрт ногу сломит. Но это детали, главное я поняла.

Мы живём без компьютера не потому, что он слишком дорогой. Нет. Компьютер нам не нужен. У отца есть на работе, Ма хватает телевизора, а мне не интересно. Как представлю долгие часы, потраченные на освоение программ, сайтов и прочей дребедени, челюсть сводит. Но теперь надо кое-что прояснить. Раздумываю, выбираю между библиотекой и интернетом. Библиотека - далеко и мутно, поэтому отправляюсь в затхлый полуподвальчик с гордым названием «Компьютерный салон». А там сонный тощий парень с крупинками перхоти на воротнике низко наклоняется ко мне и щёлкает мышкой:

- Смотри, это поисковая строка. Вбиваем запрос и... вот, все эти сайты по твоему делу, ок?

Из его рта гнилостно пахнет больными зубами, и терпеть всё труднее. Никак не могу сосредоточиться, но энергично киваю, чтобы он поскорее вернулся за свой администраторский стол.

- Теперь наводи курсор и кликай на нужную ссылку.
- Да, я поняла, спасибо, - иди уже, мил человек!
- Если что, позови.
- Конечно.

Он, наконец, отходит, шикает на пацанов, чтобы не орали, и я с облегчением откидываюсь на спинку стула. Жарко.

Помещение маленькое, наполовину заваленное коробками, ящиками и упаковками писчей бумаги. Окон нет, лампа под потолком длинная, тусклая, потрескивающая. Буквой «П» стоят школьные парты, на них – серые пыльные компьютеры с залапанными экранами. Клавиатура тоже грязная, но ничего, я не белоручка.

- Эй, куда прёшь?! Ты ж меня подставил! – тонко вскрикивает мальчишка лет десяти.

Их тут целая компания – сидят за разными компами и гоняют в сетевую игру-войнушку. Админ одёргивает, но не проходит и пяти минут, как снова поднимается ор. Маленькие бандерлоги. Ладно, мне-то что. За работу.

Открываю сайты один за одним, и они выскакивают, наслаиваются вкладками. Всё нужно, всё по теме. Читаю быстро, проглатывая текст целыми абзацами. Обдумывать буду потом.

Синдром Дауна – врождённое хромосомное заболевание. Нормальное количество хромосом у человека – сорок шесть, при синдроме Дауна добавляется ещё одна.

- Стой! За дерево прячься, там всё простреливается! – пищит один из пацанят.

Синдром Дауна с одинаковой частотой наблюдается и у мальчиков, и у девочек. Установлена прямая зависимость между появлением лишней хромосомы у плода и возрастом матери.

- Гаси её! Гранату кидай, уйдёт зараза!

Возраст мужчины большого значения не имеет.

- Сам гаси! Миха, подкинь патронов, я пустой!

Синдром Дауна диагностируется с первых дней жизни ребёнка. В большинстве случаев мозг у таких детей недоразвит,

- Бей его!

они обладают специфической внешностью

- Бей! Мочи!

и часто страдают рядом сопутствующих заболеваний и пороками развития

- Давай! Давай! Не жалей!

- Молчать! – взрываюсь я, и мальчишки удивлённо оборачиваются. Админ тоже вскидывает голову, растерянно моргает. Откашливаюсь и понижаю тон: – Вы мешаете, можно потише?

Игроки недовольно ворчат, но громкость прикручивают. Скорее всего, ненадолго.

...пороками развития сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Нередко наблюдаются деформации скелета, слабые зрение и слух, ранняя болезнь Альцгеймера, эпилепсия, низкая сопротивляемость инфекционным заболеваниям и лейкозам.

- Ну, капец! Это полный капец! – не выдерживает самый горластый пацан.

Синдром Дауна выявляется на ранних сроках беременности, но результаты таких исследований бывают ошибочными. Однако, чем старше мать, тем больше риск, что анализ отражает верную картину.

- Ага! Получила?! Щас я тебе по полной накостыляю!

Синдром Дауна не поддаётся лечению.

- Вот так! Сдохни!

Достаточно. Надо выбираться отсюда.

Долго стою на автобусной остановке, а мимо идут незнакомцы. Оскальзываются на слякотном тротуаре, несут пакеты с едой, торопятся. Рабочий день закончился, но дел ещё по горло. Небо окончательно выцвело, не осталось и намёка на голубой цвет. Белесое, никакое. И люди вокруг никакие. Чужие. Мне бы совет или просто немного общения, но где его взять? Рассказать Джиму? Нерешительно топчусь на месте.

Джим наверняка выплеснет на меня годовой запас оптимизма. Мол, не грусти, всё очень замечательно, детки с таким синдромом добрые и ласковые, они истинные посланцы великой любви, всё наладится. И я не стану ничего говорить в ответ, а просто врежу. И больше не захочу его видеть, и потеряю навсегда настоящего друга. Нет. Джим нужен, необходим рядом, особенно сейчас, когда каждый новый день подкидывает проблем. Словно у Бога накопилась куча негодного барахла, да такая, что кладовка не закрывается, и он решил всё это вывалить на землю. И сыплется, сыплется на меня хлам и тухлятина. Спасибо, Бог.

«Эй, Бог! Слышишь меня? Спасибо!»

Нет ответа.

Вечером смотрю на окно Будды. Примерзаю к скамейке у подъезда, уставившись на жёлтый прямоугольник. Может быть, чуть позже поднимусь к нему, но сейчас мне нравится быть брошенной и бесприютной. Это почти так же мучительно, как расчёсывать заживающую ранку – кровит, но и сладко до мурашек. В плеере «Ночные снайперы»: на одном берегу умирает чёрный стерх, на другом – танцует белый лебедь, а сердце в тисках. Они поют моё одиночество.

Дни текут, а Будда не меняется: позволяет дрейфовать рядом, пока сам расслабленно плывёт по течению. Так было всегда, но теперь мне хочется его хорошенько встряхнуть, закричать в лицо, что я существую, и он должен с этим считаться. От одной мысли об Эмани внутренности стягиваются в узел. Будда не привязан к ней, но она дышит тем же воздухом и видит его спящим. Иногда мне кажется, что я не сдержусь и выцарапаю ей глаза. И это не ревность, нет, это моё право.

Спринга подходит со спины, садится рядом и тоже смотрит на окно. Её лицо под фонарём кажется маской японского актёра – неестественно белое, с чёрными провалами глаз и ярко-красным ртом. Снимаю наушники:

- Привет.

- Угу. Ты чего здесь?

- А ты? – отвечаю вопросом на вопрос.

- Да вот...

Киваю, будто это что-то объясняет.

- Тебя увидела, - нехотя продолжает Спринга. – Думала к Будде зайти, вы же меня искали. Ты и Каша. Скажи Каше, чтобы отстал, ладно?

- Почему?

- Я теперь с Киксом.

Так себе новость, крысёныш Енот уже рассказал. Но в голове не укладывается.

- Да ну, он же старый!

- Не старый, а взрослый.

Нет старый. Пакостный белобрысый дядька с бесстыжими лапами. Только спорить бесполезно.

- И как оно? – спрашиваю.

- Неплохо, - безрадостно отзывается Спринга.

- И всё-таки, почему ты нас бросила? – обида заползает в голос против моей воли.

- Какая разница?

- Большая! Я хочу знать, что происходит, неужели не понятно? – прорывает меня. – Это неправильно. Мы ведь просто жили. Совсем недавно лазили на крышу и ничего особенного не делали. А сейчас всё разваливается. Ты, Будда, дома у меня, Фига-дура привязалась. Хотя, плевать на неё. Но с нами-то что не так?

- Не знаю, - она снова поднимает голову к окну, словно точку ставит.

- А Тим Саныч? Он ведь тоже...

- Саныч – мразь! - перебивает Спринга. «Мразь» звучит влажно. Будто с высоты бросили здоровенную жабу, и она лопнула от удара о бетон. Мы чтим её гибель минутой молчания. Напряжённой, натянутой до предела минутой.

Понимаю, что сейчас Спринга встанет и уйдёт. Одно неосторожное слово и я останусь одна. Опять.

- Объясни мне, - это звучит униженно, плаксиво, будто скулёж.

- Что тут объяснять? – вздыхает она. Тянет носом, откашливается и улыбается. Жутковатой такой улыбкой, вроде оскала киношного маньяка. – Саныч – гад, долбанный извращенец. А Чепа наверняка знал про папашку своего, а если не знал, то догадывался. Караулил же, следил. Только Саныч его отшил: «Стасик, твоя мама звонила, ей не нравится, что ты у меня целыми днями трёшься. Незачем нам с ней опять ругаться, сделай перерыв». И дверь у него перед носом закрыл. А я тоже... Тим Саныч же, такой классный, всё понимает, всё знает, не то что остальные. Меня выбрал, отметил, тайна у нас, у-у-у... в общем, поздно я прочухалась, что к чему. У тебя платок есть? Холодно – околеть можно.

- Нет, платка нет. Перчатки дать?

- На кой мне твои перчатки? – злится она.

- Что он сделал, Спринг? – не отстаю я.

- Что сделал, то сделал. Но ты к нему не ходи. У них же всё схвачено – папаша не гнида, а больной на голову. Засунут в дурку на время, и порядок. А то, что он девчонок калечит, так больной же. Не ходи.

- Как калечит? – я, кажется, поняла, но надо ещё и поверить.

- Издеваешься?!

- Нет. Я... он – это?

- Это! – презрительно хмыкает Спринга, - Вот как оно называется - «это»! Ты прямо как моя бабуля!

Она встаёт:

- Ладно, чеши к своему Будде.

- Слушай, - хочу сказать что-то правильное, поддержать, но вместо этого выдаю - зачем ты одна к нему? Почему ходила? Ты же умная! Блин, ну почему?

- Вот, соображаешь. Это я виновата. Сама нарвалась. Я – дрянь, с хорошими девочками такое не случается. И поделом мне. Но я могу и хуже, намного хуже, удивишься, какая я безнравственная.

- Нет, ты не...

- Только давай без сопливых сцен, а? Не надо мне твоей дешёвой жалости, – она поворачивается спиной, делает несколько шагов, но останавливается. – А Будде ты не нужна, даже как собачонка. Теперь уж точно.

Спринга ударила прицельно и попала в десятку.

- Эмани уедет, - говорю.

- Не она, так другая. В любом случае у него появилась бы девушка.

- Она ему не девушка!

- А кто?

- Никто!

Спринга снова смеётся, но на этот раз без горечи – легко и радостно:

- Ошибаешься. Никто – это ты.

Каждое утро я беру рюкзак и выхожу из дома, но в школе не появляюсь. Вместо этого шатаюсь по улицам до девяти, а потом топаю в компьютерный салон, где до рези в глазах штудирую около медицинские сайты. Ещё немного, и можно будет сдавать экзамен на спеца по синдрому Дауна. Я не ищу что-то конкретное. Это похоже на зависимость, на нервный зуд. К тому же, пока я торчу за пыльным подвисяющим компом, все другие мысли из головы улетучиваются. Про Будду, Эмани, Спрингу, Чепу и Тим Саныча. Последние из списка кажутся мне отвратительными. И Спринга тоже, хотя к ней надо бы испытывать сочувствие. Но это так... это грязно. А я лицемерка, знаю. Истинная дочь своей матери.

Ма похожа на видеозапись, которая работает в замедленном режиме. Она словно ушла в глубокую спячку, признаки жизни подаёт по инерции. Смотрит и слушает внутрь, а не в мир. Отец старается приезжать за полночь, а сваливать чуть ли не с рассветом. Его можно понять, наш дом похож на кладбище: неподвижный сумрак, увядшие букеты, и понурые мы скорбно стоим возле ямы, в которой пока пусто. Отец ещё не знает, почему всё

так обернулось. Думает, что Ма нафантазировала подлую измену и ревнует его к Инусику. Но я-то в курсе. И от этого только тяжелее.

Я хотела сказать им – ей и отцу. Напасть без предупреждения, пока мы окончательно не мумифицировались. Вывалить всё, что знаю. И про скрининг, и про пороки развития, про всё. Потому что пока Ма медлит, а я делаю вид, что ничего особенного не происходит, он растёт. Там, у неё в животе растёт инопланетянин. Чуждая форма жизни. И с ним надо что-то решать. Избавляться. Я боюсь его, но не говорю об этом, просто не знаю – как. Озвучить необходимость убийства, хоть и одобренного врачами, - почти то же, что случилось со Спрингой. Только грязнее.

И про Спрингу нашим не сказала, будто с ней и не виделась. Пусть сами разбираются. Джим почти пробил меня на откровенность, он умеет, но устояла, сдержалась. Мне всё чаще кажется, что чем больше трёпа, тем толще проблемы. Они словно раздуваются, кормятся словами. Нет уж. Я забиваюсь в интернет-кафе, скрючиваюсь за монитором и надеюсь, что завтра будет лучше.

Тощего администратора компьютерного салона зовут Андрей. Он старше меня лет на десять, но не выделяется, не корчит из себя повелителя интернета и знатока жизни. А я попривыкла к его перхоти и несвежим зубам, тем более, он почти не подходит. Сидим, как два голубя на разных ветках одного дерева. Я возле выхода, он - за админским столом. Я читаю, он бегло печатает, сухо пощелкивая клавишами. Неплохой парень, но не из наших, конечно. Хотя, что такое «наши»?

Не надо думать, надо открыть ещё пару сайтов.

Обычно утренние часы мы с Андреем проводим вдвоём: малолетние любители войнушек расползаются по школам, да и взрослые при деле. Изредка забегают студенты распечатать текст с дискеты или воспользоваться принтером, и всё. Андрей без конца кипятит электрический чайник и дуёт литрами растворимый кофе из пакетиков. Запах его бурды немного перекрывает затхлость и плесень полуподвальчика, а приоткрытая дверь выпускает свежий сквозняк. Вполне сносно.

- Тебе налить? – спрашивает он.

- Что?

- Кофе налить? – Андрей показывает на свою чашку.

Почему бы и нет?

- Давай.

Чашка у меня другая, но тоже из админских запасов. По краю закаменел чёрный ободок, на дне – неистребимый въевшийся осадок. Уже третий день начинаю утро с противного дешёвого пойла, и мне это нравится. Вроде как символ того, что в тесной неряшливой каморке компьютерного салона я – своя. Хоть где-то.

- Слушай, а что у тебя за интерес к синдрому Дауна? – спрашивает Андрей, когда я заканчиваю, выключаю комп и потягиваюсь.

- Это запрещено?

- Эй, эй, не злись. Просто необычно. Научный проект по учёбе делаешь?

- Вроде того, - встаю, но не ухожу.

Он ведь совершенно посторонний человек. Даже не знает моего имени, никакой от него опасности. А я так долго молчу, сил уже не осталось. Разорвёт же от всей этой мути, что накопилась внутри.

- Нет, вообще-то нет, - я совсем не уверена, что поступаю правильно. - Не проект. Хочешь долгую унылую исповедь?

- Давай, только чайник поставлю.

Долго не получается, зря беспокоилась. Мои переживания уместаются в короткий незатейливый рассказ, начисто лишённый надрыва и трагичности. Слова упрощают, обесценивают чувства.

Андрей не перебивает, слушает, попивая кофе. Интересуется, что я хочу найти в интернете. Если бы я сама понимала.

- Я пока не буду обещать, - говорит он, - но попробую немножко помочь. Есть у меня знакомая. Вернее, родственница, двоюродная сестра моей матушки. Я с ней созвонюсь. Ты завтра приходи, ок? Договорились?

- Зачем мне родственница?

- Может, и пригодится.

- Ладно.

Очень сомневаюсь, но приду. Куда мне ещё деваться.

- Стой, - окликает Андрей, когда я начинаю подниматься по лестнице к выходу на улицу.

- А?

- Тебя как зовут?

- Э-э-э...Аля.

- Алина?

- Нет. Алевтина.

- Серьёзно?!

- Серьёзнее некуда. А что не так?

- Да ничего. До завтра, Аля!

Я только киваю.

Ну да, Аля. Он же не из наших, не поймёт про Никто. Наверняка не поймёт.

31

Джим смотрит с отвращением. Ма разглядывала тараканов на нашей кухне с похожей гримасой. Это когда на первом этаже открылся гастроном, и началось нашествие насекомых. Вот и у Джима на лице смесь ужаса и омерзения. Но недолго. Краем глаза он выхватывает моё движение и мгновенно расцветает улыбкой вселюбви. Только я успела заметить. И подумать: неужели и у меня безобразная мина. А потом: это же дети.

Дети. Но он не был готов, если к подобному вообще можно подготовиться.

Я попросила Джима составить компанию, потому что не решилась одна.

- Куда едем? - бодро поинтересовался он.

- Увидишь.

И мы увидели. Маленький сквер за чёрным ребристым забором, ворота на запоре и скрипучую калитку рядом. Никто не остановил, не спросил документы или ещё что. Растрескавшаяся дорожка привела к жёлтому трёхэтажному зданию. Обыкновенному, каких везде навалом, вроде больницы или типовой школы советской постройки. Чуть в стороне, у невысоких тополей с уродливо спиленными ветками – детская площадка: пара качелей, низкая горка, линялый металлический грибок торчит из коробки песочницы. И ни души. Только картаво крикнула ворона, прыгнула с крыши на дерево, да кудлатая дворняга посмотрела глазами мученицы из-под лавки.

- Не привлекай внимания, хорошо? Я буду говорить.

Джим согласно кивнул, и мы вошли.

Длинный унылый коридор с коричневатыми стенами и вытертым линолеумом встретил безлюдными сумерками. В нос ударила тяжёлая смесь запахов лежалого грязного белья, сырости и пригоревшего лука. Где-то на верхнем этаже приглушённо плакал ребёнок. «Ыа-а-а, ы-ы-а-а-а, - канючил он, затихал, и снова: – Ыа-а-а-а». На одной ноте, будто не очень хочется, но надо.

- И что?.. - начал Джим, но я перебила:

- Давай поищем сотрудников.

Мы двинулись на запах еды и довольно быстро наткнулись на дородную тётку в тёмно-синем рабочем халате. Она стояла возле большой раковины в одной из хозяйственных комнат и полоскала тарелки в мыльной пене. Рядом, на жестяном столе, висела гора разномастной посуды.

- Куда в грязном?! – взревела тётка, приметив нас на пороге.

Я назвала имя-отчество родственницы Андрея, пролепетала, что нам назначено и попросила позвать. Она явилась минут через пятнадцать. Этакая высокая мосластая лошадь в деловом костюме. Окинула нас угрюмым взглядом, поджала бледные узкие губы:

- Я думала, вы старше. Андрюша сказал, что студенты, но не похоже.

- Мы из медколледжа, - соврала я, - первый курс.

- Студенческие билеты с собой?

- Ой, а мы не взяли. Не подумали, простите.

Длинное скуластое лицо родственницы стало ещё мрачнее.

- К детям не пушу, - жёстко отрезала она, - можете посмотреть через стеклянную дверь. Вообще, мы такое не разрешаем, у нас не выставочный зал, но Андрюша сильно просил. Пять-десять минут, не больше. Вас это устроит?

- Да! Спасибо большое! - обрадовалась я, но она уже удалялась по коридору, с силой впечатывая в линолеум плоские подошвы. Обернулась, недовольно махнула, и мы бросились догонять.

И вот мы втроём стоим возле двери в игровую комнату, разглядывая через стекло детей лет пяти-шести. Их не больше десятка. Вялые, малоподвижные, будто опоенные снотворными каплями. Я ловлю себя на мысли, что наблюдаю не за человеческими существами, а за червяками в банке: они копошатся на ковре без всякого смысла, путаются в собственных конечностях, будто случайно трогают рассыпанные цветные кубики, замирают, непредсказуемо меняют направление, издают слабые тягучие звуки. Девочки и мальчики с плавающими зрачками и невнятными неуклюжими жестами. Слюнявые, сопливые, искривлённые.

Родственница Андрея тоже замечает брезгливую гримасу Джима.

- У нас детки с разными диагнозами, - с вызовом говорит она. – Ребят с синдромом Дауна в этой возрастной группе трое. Вас ведь они интересуют?

- Да, - выдыхаю я.

- Видите девочку в клетчатом сарафане? Это Ариша, у неё синдром. Ещё Игорь, вон тот мальчик с машинкой. И Даня – самый маленький, в жёлтой футболке у стены.

Я могла бы сама догадаться. Они похожи как два брата и сестра – круглые плоские лица, отёки вокруг глаз, полураскрытые рты, мясистые беспокойные языки без конца облизывают губы. Их болезнь не спрятать, она слишком заметна. Куда ни пойдёшь с маленьким дауном, люди будут смотреть, и никаких шансов претвориться, что всё хорошо. С таким же успехом можно нести транспарант: «У нас слабоумный ребёнок! Мы – неполноценные!»

Ариша, Егор и Даня. Лучше бы она не называла имён, тогда я могла бы и дальше считать их просто картинкой за стеклом. Теперь они стали людьми.

- Скажите, - спрашиваю, не отводя взгляда от детей, - когда они рождаются, ну, с болезнью, всех отдают вам, или есть семьи, которые сами воспитывают?

- Почти все отдают, отказываются ещё в роддоме. Врачи сразу предупреждают, что лечения не существует. Ужасы разные рассказывают. Но есть родители, которые оставляют у себя, тянут, воспитывают. Это тяжело, но не конец света. Была бы любовь.

Любовь.

Рослая девочка с перекошенной спиной по-крабьи подбирается к Егору, выбивает из его слабой ручонки машинку и смеётся, словно ухаёт совой. Егор замирает, недоверчиво разглядывая свои пальцы. Девочка ковыляет дальше, и тут он заходится горестным плачем. Не показным рёвом, который должен привлечь взрослых, а негромкими, словно задыхающимися всхлипами. Жалобными, щемящими, безысходными. Толстенькая неловкая Ариша реагирует мгновенно. Она несётся к нему с такой скоростью, что вполне может врезаться в бедолагу и серьёзно покалечить, но успевает замедлиться, плюхается рядом и сгребает в охапку. Теперь они всхлипывают вдвоём. Обнимаются, легонько раскачиваются, и я вдруг представляю море и двух детей на плоту. Брошенные, постыдные, списанные в брак, они даже не подозревают о своей ущербности. Просто одному человеку обидно, и от этого обидно второму. А море кипит, швыряет плот из стороны в сторону, и если он разлетится и потонет, никто не заметит. Подумаешь, плот. Щепочка. Его и не видно даже.

- Опять! – недовольно выдаёт родственница и поворачивается к нам: – Думаю, хватит. Андрюше привет.

- До свидания.

- Да-да, всего доброго.

Она распахивает дверь и кричит вглубь игровой:

- Анна Семёновна, чем вы заняты? Детей успокаивать я должна?!

Мы уходим не оборачиваясь.

- Зачем тебе эти дауны? – спрашивает Джим, когда жёлтый дом, сквер и забор остаются далеко позади.

«У меня может быть такая сестра. Или брат», - почти срывается с языка, но вспоминаю его недавнее отвращение, и не решаюсь, проглатываю слова. На вкус они хуже скисшего молока.

- Научную работу пишу.

- А-а-а, - тянет он и переводит тему.

Дома первым делом засовываю всю одежду в стиральную машину, а пальто и ботинки выношу на балкон, чтобы проветрились. Долго тру себя мочалкой, дважды намыливаю волосы фирменным шампунем Ма, что с маслами редчайших эдемских орехов. Но запах детского приюта никуда не девается, я пропиталась им. Лежалое вонькое бельё и пережжённый лук.

На Ма стараюсь не смотреть. Не могу. Не сейчас.

А ночью я снова там, только игровая комната не в семи троллейбусных остановках отсюда, а в нашей гостиной. И детей гораздо больше. И все они называют меня мамой. Просыпаюсь посреди ночи и до утра не ложусь. Страшно. И Янка в плеере не спит. «По перекошенным ртам, продравшим веки кротам, видна ошибка роста», - поёт она. Прокручиваю диск раз за разом, снова и снова. Я бы не смогла сказать лучше.

- Аля! Аля, стой! Подожди!

У Инусика маленькая пузатая машинка с круглыми выпученными фарами. Красная, похожая на карамельку. На приборной доске - мягкая плюшевая собака, на заднем стекле – наклейка в виде каблукастой туфли и надпись: «Автоледи!» Те, кто сейчас едут за ней и отчаянно сигналият, могли бы смириться и подождать, глядя на эту наклейку. Понимать надо.

Инусик еле тащится, прижавшись к обочине. Что с того, что на центральном проспекте от машин не продохнуть, подумаешь – час-пик! У неё душевный порыв.

- Садись, подвезу, - кричит Инусик, перегнувшись через пассажирское сидение. На дорогу не смотрит: нога на педали, руки на руле – этого достаточно.

- Нет, спасибо, нам не по пути, - отвечаю.

Куда бы деться с этого дурацкого тротуара? Некуда. Но прибавляю скорость.

- Как мама? – не унимается она.

- Нормально.

- Злится на меня?

- Не знаю, но пока её лучше не трогать.

- Почему? Что-то ещё случилось?

- Тётя Инна, там светофор впереди, вы людей собьёте.

Она бросает быстрый взгляд на дорогу, машинка судорожно дёргается, но ползёт дальше.

- А, чёрт! – шипит Инусик и снова поворачивается ко мне: - Подожди, я хотела...

- До свидания! – кричу. - Мне надо в магазин!

И мчусь к торговому центру, что показался по правую руку.

- Аля!..

Высокие двери бесшумно разъезжаются, и я попадаю в царство блистающих сокровищ мейден ин чина. На некоторых написано, что они испанские там, или французские, но в секунд-хендах правды больше. Не уважаю торговые центры за их выпендрёжное враньё, на которое так хочется купиться, и за пожирание времени. Стоит только зайти, вот на одну минуточку забежать, как утащит, засосёт, и два часа из жизни вон. Зато ветер не дует. Расстёгиваю пальто, разматываю красный шарф Джима, принимаю сытый скучающий вид и плыву между нарядных манекенов особым неспешным манером. Чуть презрительно, но и малость заинтересованно.

Люди, люди, люди. Нормальные. А я словно путешественница по мирам, героиня фантастического сериала. Вчера была в плоскости искривлённых детей, где главная ценность – тепло чужой ладони, сегодня здесь - в королевстве ценников и распродажных бирок. Иные измерения совсем рядом, чуть ли не на соседних улицах, но нет у них точек соприкосновения. Другие планеты. Реальность будто разломилась и оказалась слоистой. Вроде пластов земной коры. Если такие пласты сдвигаются, вулканы начинают истекать лавой, трескаются горы и вымирают мамонты, но такова цена рождения новых материков.

А сколько ещё человеческих вселенных вращаются в сантиметре от моей жизни? Тех, которые не скрыты, но я не замечу их, даже если уткнусь носом. Как, например, не замечаю металлические коробки возле некоторых домов.

- Знаешь, что это? – спросила однажды Эмани, когда мы возвращались с очередной тусы на Колесе. Она показала на небольшой железный ящик возле круглосуточного ларька.

Такой, вроде узкого шкафчика с меня высотой, серенький, местами ржаво-пятнистый, с двумя створками и навесным замком.

- Нет.

- А ты? - спросила она Будду.

- Оно мне надо?

- Это тайные почтовые хранилища, - Эмани многозначительно помолчала. – Почтальоны ходят пешком по очень длинным маршрутам. Таскать на себе несколько килограммов макулатуры нереально, поэтому с утра пораньше машина развозит всё тяжёлое по таким опорникам. Закладывают в них и запирают. А у почтальона есть ключ, чтобы на каждом участке доставать газеты, журналы и прочую муру, и разносить порциями по ходу движения. Могу поспорить, что вы не знали.

- Я и не видела их никогда, опорники эти, - говорю. – Миллион раз мимо проходила и не замечала.

- Я тоже. Пока не устроилась на почту. Но надолго меня не хватило.

Будда внезапно заинтересовался, спросил, где ещё она работала. Эмани пустилась в долгое перечисление, а я подумала, что наверняка есть и другие вещи, невидимые для меня. Будки, двери, трубы, лестницы, да мало ли что.

А теперь оказалось что речь о целых мирах. Одни - жуткие, как тёмные пруды, другие - скучные, или вот блестящие, как эта торговая шкатулка с барахлом. Подсветка, зеркала, перезвон колокольчиков и механические танцующие продавщицы.

Поток покупателей прибывает меня к эскалатору, несёт дальше, выше. Мимо книжного, где цены как в ювелирном, мимо игрушек, ресторанной зоны, детской площадки, аккуратно к отделу товаров для новорожденных.

«Не смей, - приказываю себе, - давай в другую сторону».

И почти получается.

- Зачем нам сюда, мать? На оптовке такие же кровати, только в пять раз дешевле, - ворчит знакомый голос.

- Ну Серёжа! Папа денег дал, не жмись.

Молодая женщина в распахнутой рыжей дублёнке похожа на ледокол - словно раздвигает невидимые преграды большим животом. На пухлом сметанном личике решимость и ничего кроме решимости. Она своё не упустит. Поэтому спутник – угрюмый красномордый бугай - покорно идёт следом. Большой и несуразный среди воздушных кружавчиков, изящной, словно кукольной мебели и прочих бирюлек.

- Смотри какая! Прелесть! Сколько стоит? Ну да, ручная работа, я понимаю. А та, светлая? Ничего себе. А здесь ящик выдвигается? – будущая мамочка и продавщица трогают, нюхают, обсуждают. И прямо лучатся удовольствием.

- Вы уже знаете, кто будет? Мальчик или девочка?

- УЗИ показывает девочку.

- Тогда предлагаю вам эти мягкие бортики.

- Розовые? Как-то банально...

- Что вы?! Коралловые!

- А, ну если коралловые, тогда можно.

Бугай таскается за ними, терпит. Не могу назвать его иначе. В гошовском куце пуговичке и культурных начищенных ботиночках, с вязаной шапочкой, которую он мнёт в горсти, словно провинившийся малолетка. И эта старательная умильность во взгляде. Эта «маса» в адрес жены. Конечно, жены, а кого ещё? Вон и обручальное кольцо, которое он снимает, когда отправляется по флэтам и сейшенам. Когда на его бедре позвякивает цепь, а на плечи наброшена косуха.

- Серёжа, давай эту купим, пожа-а-алуйста!

Эх, Меля. Как ты вещал? «Мы – настоящие хищники, мы не животные с фермы»? Вроде того. Я плоховато помню.

А Кикс? Тоже семейный? Впрочем, какое мне дело. И Спринге наверняка плевать, ей так даже лучше. Подойти к тебе, спросить о подружке?

Нет, пожалуй, пора на выход, пока ты меня не заметил. Ни к чему это. Стыдно нам будет столкнуться лбами. А если тебе нет, то мне – точно. Стыдно. За тебя.

Каша сказал, что будет работать. Официально его никто не возьмёт, но можно помогать у матери на рынке. За копейки, но всё-таки лучше, чем совсем ничего. Потому что слесарь или сварщик - звучит гордо, но Кашиным склонностям не отвечает. Он хочет машину, чтобы таксовать. С шаражной корочкой о наличии рабочей профессии в кармане, тут вариантов нет, но сам себе хозяин. Так что, вперёд за мечтой. Простите братья, теперь будем редко встречаться. А ежели окажетесь на центральном рынке, спросите Вовчика Каширина, тогда и свидимся.

Мы не удивились. После закидона Спринги ждали чего-то подобного. Я, во всяком случае. Джим расстроился, обещал звонить, а Будде с Эмани откровенно всё равно. Эмани

не знает Кашу, он ей не друг. Будда всегда так. Пусто. Пожмёт плечами, нацепит наушники и стучи-не стучи никого нет дома. Смотрю в его светлые равнодушные глаза и понимаю, что некоторые люди молчат только от того, что им нечего сказать. И сразу мысленно отвечаю себе пощёчину за крамолу. Дура!

«Кашалот плывёт отсюда, за спиной кипит волна», - придумала Спринга про Кашу. Так и вышло. Вот-вот вильнёт хвостом на прощание.

Ночью мы мёрзнем на крыше. Хотели показать Эмани первобытные танцы, да не задалось. Когда набились в лифт, и он знакомо дрогнул, скрипнул, натужно потянул нас к небу, вернулось прежнее предвкушение рваного ритма. Но на холодном ветру улетучилось без остатка. Первый снег давно истаял, скоро второй. Мороз хрустит на зубах, дерёт горло. Дышим на ладони, притопываем, не понимаем, зачем мы здесь. Стоим у парапета, слушаем прерывистые сигналы светофора и гул машин на перекрёстке. Думаем каждый своё.

- Давай согрею, – Джим берёт мои руки.

У него тёплые надёжные ладони, но отстраняюсь. В милом улыбчивом Джиме тоже что-то сдвинулось. Или это я соскальзываю непонятно куда. Но чувствую в нём лажу, почти незаметный изъян в быстрой верхней нотке. На такое легко забить, особенно, если подпеваешь. Надо попробовать, отвлечься, передумать.

- Согрей.

Эмани поднимает воротник короткой ветровки. Сводить бы её в секунд за одежкой потеплее, но я не настолько великодушна. К тому же, она – бродяжка с большим опытом, сама выкрутится. А может, устанет мёрзнуть и отчалит в тёплые края, подальше отсюда. Или заболит пневмонией, беспечно запустит воспаление и: «простите, медицина бессильна». Мечты.

- И чего вас сюда понесло? Ну крыша, ну высоко. Мне ветром кожу с лица сдувает, - жалуется Эмани.

- Это не просто крыша, - говорю, будто она способна понять, - это наше место.

- Круто, я в восторге.

- Что-то не заметно.

Эмани пропускает колкость и поворачивается к Будде:

- Тут ловить нечего. Пойдём домой.

Домой! Домой, блин!

- И я двину, завтра вставать рано, - Каша салютует, вскидывая кулак, и скрывается в чердачном окошке.

- А вы? – спрашивает Будда.

- Ещё постоим, - отвечает Джим после того, как я отрицательно мотаю головой. Коротко, зло.

Эмани не говорит ничего. Они уходят, не оборачиваясь.

Джим держит мои руки в своих, я поднимаю голову и смотрю в чёрное беззвёздное ничто: «Бог, ты там?»

Тишина.

Правда ветрено, до костей прожигает арктическим холодом. А ведь зима и не началась. Надо было не выделяться и спуститься со всеми. Только не рискнула, побоялась, что не сдержусь и наору на Эмани, а после не смогу бывать у Будды как раньше. Но ведь уже давно не как раньше.

«Копейки лучше, чем ничего» - так сказал Каша. А я хоть и гордец, но попрошайка - обязательно вернусь к двери своего не золотого, но позолоченного божества. И попрошу у него слово или улыбку. И буду презирать себя за это. Если Джим не станет лекарством, противоядием.

Тогда на задней площадке автобуса с нами произошло нечто особенное, и я хочу это повторить.

Джим целует меня невесомо. Осторожно касается губ и чуть отстраняется, словно сомневаясь. Теперь мой ход. Я не чувствую притяжения, воздух не сжимается, не стискивает нас, но всё равно тянусь навстречу. Мы, наверное, неплохо смотримся со стороны: двое на тёмной крыше, приникшие друг к другу над мерцающими огнями большого города. Только я сейчас должна думать не об этом. Я вообще не должна думать. И стараюсь, честно стараюсь переключиться. Губы у Джима мягкие, чуткие. Его пальцы сжимают мои, скользят к запястьям. Полшага и прижимаюсь к нему. И согреваюсь. И почти не думаю. Почти.

Всё не так.

Мы – не дети на плоту. И если одному больно, второй не заплачет. И нет вокруг нас никакого моря. Я понимаю это настолько внезапно и остро, что готова закричать. Давиться горестным подвыванием и бежать куда придётся. Но вместо этого лишь отступаю назад и тихо говорю:

- Уже поздно.

Джим не спрашивает - что поздно, для чего поздно, почему поздно. Его тёмные глаза мерцают, как тогда, на концерте. Наш короткий танец на арене случился сто лет назад, в

одном из чужих параллельных миров. Но именно он стал точкой отсчёта. Теперь колокольчик в моих волосах не звучит соль-диезом. В них вообще нет колокольчиков.

Фига сменила синюшный окрас на тёмно-зелёный. Ворот болотистой водолазки подпирает её двойной подбородок, безжалостно обтягивает опавшую грудь и складки-валики на животе. Дальше не вижу: она сидит за столом, а я разглядываю её сбоку, стоя у доски.

Пахнет меловой крошкой, потом и предвкушением. Класс напряжённо молчит. Дураку понятно, что Фига вызвала меня нарочно, для показательной порки. И драматическую паузу держит намерено, для большего эффекта. Постукивает шариковой ручкой по обложке журнала, разглядывает мои ботинки. Да, не сменные туфли, не хватало ещё. Но чистые, не придерёшься. Потому что по улице они сегодня не ходили, отец на машине привёз. Этапировал. Мы даже поругались, точнее, он наорал.

Скольжу взглядом по несвежему желтоватому лицу Фиги и дальше за окно, пробегаю по обледелым тополиным веткам, останавливаюсь на трепещущем полиэтиленовом пакете, что зацепился за телеграфный столб, и пытаюсь вспомнить. Отец бывает мрачным, ворчливым, разочарованным, но кричать – никогда. Это Ма заводится с пол оборота. Заводилась, пока не окаменела.

Вечером отцу позвонила классная, сказала, что волнуется. Что я, наверное, заболела и поэтому пропускаю уроки. «Да-да, так и есть», - подтвердил отец и добавил, что мне уже намного лучше. И больше не звука. И утром тоже. Думаю, это из-за Ма – избегал меня, сдерживал гнев, чтобы не мешать ей отупело пялиться в телевизор. Она теперь часто сидит в кресле перед почти беззвучным экраном и пилит ногти. Так коротко пилит, что ещё немного, и брызнет кровь.

Он начал скандалить в машине. Раскричался без предупреждения и повода, как только я забралась на заднее сидение.

- Какого чёрта?! Какого чёрта я должен врать и прикрывать твои прогулы?! От тебя требуется только одно – учиться! Я не спрашиваю где ты и с кем, что пьёшь или куришь, не требую отчёта, не заставляю помогать матери, даю деньги, но ты должна закончить школу! Мне безразличны оценки в аттестате, но ты должна его получить! Это понятно?!

- Не понятно.

- Что?!

- Не понятно, почему тебе на меня плевать, а на аттестат – нет.
- Я не говорил, что плевать!
- Ты только что это сказал. Сказал, что тебе всё равно где я и с кем...
- Хватит!

Отец заводит двигатель. Пока машина прогревается, он сидит без движения – сутулый старик. Включает печку, потом – дворники. Они со скрипом елозят по стеклу, оставляя полукружья грязных разводов. Не разговариваем всю дорогу. Он ведёт осторожно, даже слишком, мы словно плывём. Прислоняюсь носом к холодному стеклу, часто выдыхаю, чтобы оно запотело. Так-то лучше, не видно низкого ледяного неба и слякотной жижи под ним.

Перед школой подхватываю рюкзак, но не выхожу – отец заблокировал дверь.

- погоди, – говорит он. – Пообещай, что это не повторится.
- Не могу.
- Почему?

Потому что не вижу смысла в ежедневной школьной рутине. Мелочные придирки Фиги, постная мина классной, примитивная болтовня одноклассников, параграфы, рефераты, темы, проверки и прочая бытовуха – бесполезная суета. Трясина.

Потому что у меня была семья. Не вы с Ма, а настоящая семья наших, но они, мои друзья, словно выпрыгивают из самолёта по очереди, как парашютисты. И только я не понимаю, что происходит.

Потому что ненавижу Будду, но не способна жить без него. И каждый день думаю: вдруг сегодня что-то изменится, он прогонит Эмани, а я останусь. И знаю, что обманываю себя, но не хватает воли уйти насовсем.

Потому что Ма вынашивает больного ребёнка и сходит с ума. И я, кажется, тоже. Не помню, когда в последний раз нормально спала. Каждую ночь являются слюнявые дети с отёкшими лицами и гукающими птичьими голосами. И я должна увести их из нашего дома, только они разбегаются, не даются. Тороплюсь, заталкиваю их одежонку, обувь, игрушки в большую сумку, но всё вываливается обратно. Собираю, запихиваю, утрамбовываю, не успеваю, они вытаскивают, отнимаю, снова складываю, а когда заканчиваю, не могу эту сумку поднять. Из-за кошмаров по утрам я выжата подчистую. Избита. Слаба, как жертва вампира.

Потому что

- Ты ничего не знаешь, – говорю отцу.

- Это ты ничего не знаешь, - устало отвечает он и отворачивается.

- Открой дверь, опаздываю.

Теперь я стою у доски.

Полиэтиленовый пакет на столбе раздувается белым флагом. Наверняка хлопает на ветру, просит помощи. Так и будет болтаться, никто не снимет.

Одноклассники потихоньку оживают, покашливают, опасливо обмениваются шепотками. Они устали ждать. Фига вот-вот потеряет контроль, больше тянуть нельзя:

- Отвечайте.

Класс снова замирает. Я не вижу их, но чувствую присутствие. Как в цирке перед самым первым концертом, когда мы забрались в подсобное помещение со звериными клетками. Когда в темноте ничего не разглядеть, но кожу покалывает чьё-то пристальное внимание.

- Я слушаю. Вы готовились?

Губы Фиги почти не шевелятся. Наверное, она боится, что кто-то заметит раздвоенный змеиный язык. Словам приходится протискиваться, поэтому она немного шепелявит. С-с-с-ш-ш-ш. Говорят, если к уху приложить морскую раковину, появится шелест прибоя. Я пробовала, нет там ничего. А сейчас он накатывает сам собой – шелест.

- Нет, я не готова.

- И что же вам помешало?

Интересно, если я тебе скажу, обрадуешься? Вот возьму и вывалю со всеми подробностями: «Елена Алексеевна, мне сейчас не до школы в целом, и не до химии в частности, понимаете? Мою подругу совратил отец нашего общего друга, она считает себя испорченной и делает всё, чтобы стать ещё хуже. Я не нужна человеку, которого люблю, а тот, кто хочет быть со мной, не нужен мне. Мама беременна. Когда отец узнает, что ребёнок родится дауном, то, скорее всего, бросит нас, он уже пытался. Она боится и не говорит. И я боюсь. Вы уверены, что мне поможет изучение кислот, щёлочей или полимеров?»

Что-то хожу по кругу. Сначала отец, сейчас Фига. Тупею. Мысли стали слишком неповоротливыми и шелестят. Нет, шелестели, а сейчас гудит шмель. Низко накатывает, ослабевает и снова накатывает. Может, муха? Веду взглядом по потолку, но он отдаляется, плывёт, прячет мух и шмелей.

- Я к вам обращаюсь, - речь Фиги по-прежнему невыразительна, но я улавливаю нажим на «вам». Теряет терпение.

Поняла, это в голове у меня гудит. Как ток в розетке. Глаза гудят, скулы, лоб, корни волос. Щёки занемели, как немеет нога, если её отсидеть.

- Зачем... обращаетесь?

Начинаю оседать на пол. Подламываюсь. Пытаюсь ухватиться за доску, но только сбиваю кусок мела и губку. Мел грохочет по паркету. Губка шлёпается на пол, и над ней висит облачко белой пыли. Наверное, душу из тела вышибает похожим образом.

- Что такое? Вам плохо? – Фига далеко, гул нарастает

- Упаду...

Потом самый рослый из одноклассников тащит меня на руках. Фига приказала доставить в медпункт, но длинный коридор, лестница, снова коридор - слишком далеко. Женский туалет гораздо ближе, а там окно, которое можно распахнуть. Мне не нужна медсестра, хочу дышать.

Одноклассник смущённо оглядывает кафельные стены, двери в кабинки и пару щербатых умывальников. Во время урока здесь пусто, но женская территория парням запретна в любое время.

- Ты как? – растеряно мнётся он.

Сажусь на подоконнике, прислонившись спиной к откосу, и жадно хватаю ртом уличную стужу. Это сродни жажде, когда захлёбываешься колодезной водой после многих часов на солнцепёке. Морок отступает.

- Нормально. Спасибо.

- Тебя подождать?

Ему неловко. Неловко и здесь, и со мной.

- Не надо. Я справлюсь, правда. Иди.

- А Фиге что сказать?

- Что хочешь.

Она появляется через несколько минут после его ухода. Оставила класс, надо же. Хотя, я ведь из чокнутых клоунов, могу и в окошко прыгнуть, а спросят с неё. О себе беспокоится.

- Почему вы не в медпункте?

Фига подходит близко, нависает надо мной, и даже через туалетную хлорку улавливаю знакомый аромат бабушкиного огуречного лосьона.

- Мне лучше.

Упираюсь затылком в стену и прикрываю глаза.

- Вы ели сегодня?

- Да.

- А в другие дни? Хорошо питаетесь?

- Да, это не голодный обморок.

- Болееете?

- Нет.

- А личная жизнь? Вы знаете о контрацепции?

- Всё в порядке. Это другое. Сплю мало, и поэтому, может быть, не знаю.

- Если вам нужна помощь... Я не знаю, что у вас случилось, и вы не обязаны отчитываться, но если захотите просто поговорить...

Она продолжает в том же духе, и мой рот кривится, жалобно расползается с каждым словом. Трясётся. Я зажимаю его пальцами, но что-то лопается в горле. Слёзы не закатываются назад, хоть и пытаюсь проморгаться, удержать.

- Ну что вы? Зачем? – теряется Фига.

- Я устала, я так устала, - плачу и утыкаюсь в её безобразную болотную водолазку. И рыдаю в голос. Она шепчет: «тише, тише, девочка», и от этого реву сильнее, выплёскиваюсь, избавляюсь от задавленного внутри ужаса.

Я устала. Я только сейчас поняла, как невыносимо устала.

Эмани подкрашивает веки жирным чёрным карандашом. Сидит за кухонным столом Будды босая, в джинсах и в кружевном лифчике. Он в комнате и, наверное, не войдёт, вот она и не оделась. Волосы у неё влажные после ванны, немного кудрявятся. Ногти на ногах покрыты красным лаком, на руках – чёрным, а мне красить нечего – обкусала до мяса.

- В гараже дубарь, отопления нет. Стрёмно конечно, но металюги обещали трэш, надо глянуть, - бормочет она, прищулив один глаз в маленькое карманное зеркальце. – Джим отказался, готовится к какой-то фигне по учёбе, мы думали, что и ты не придёшь.

- С чего это? – я напротив, руки на столе, голова на руках, в голове – шелест. Он не уходит со вчерашнего дня, но не досаждаёт, а только присутствует вкрадчивым фоном.

Фига оказалась вполне человеком, а не рептилией - не стала меня пытаться, отправила домой. Подозреваю, что позвонила отцу или Ма, потому что они не помешали забаррикадироваться в комнате. Почти сутки я пролежала под одеялом, нацепив наушники, и музыка текла по пустым выбеленным комнатам моего сознания. Никакой рухляди,

никаких залежей помойного тряпья, свободные вешалки и полки. Там, в школьном туалете на меня обрушилась волна цунами и вымыла всё лишнее. Теперь только сумрак и простор внутри. Обессиленное умиротворение.

Представляю концерт в гараже: надсадный рёв из колонок, повсюду переходники и спутанные мотки проводов, на которые нельзя наступать, пивная пена и машинное масло на руках, и обязательно кто-то, орущий в ухо о своих суицидных мечтах или планах прославиться. Предсказуемо и пошло. Не хочу людей, они натопчут в моём обновлённом доме. Наплюют, принесут хлам и оставят в углах. Они всегда это делают. А мне слишком приятна спокойная неподвижность внутри.

- Да так, - шурился Эмани. - Прикури мне сигарету, будь другом.

- Не курю, - и другом не буду, мы обе это прекрасно понимаем.

- Юр, прикури сигаретку! – кричит она в сторону комнаты и принимается за второе веко.

«Какой он тебе Юра?» - вяло возмущаюсь я и думаю, что могла бы толкнуть её, так, чтобы карандаш проткнул глаз. А там вроде и до мозга недалеко. Нелепый несчастный случай. Только двигаться лень.

Будда заходит в кухню, бесцветно кивает мне и передаёт Эмани зажжённую сигарету. Их пальцы соприкасаются, она небрежно подносит сигарету ко рту, обхватывает фильтр губами и глубоко затягивается. Никакой неловкости. А он словно в упор не видит её гладкую белую спину, тесные кружевные чашечки и сдавленные ими полукружья полной груди. Только спрашивает:

- Скоро?

- Почти закончила.

«Ш-ш-ш» - накатывает поверх мыслей.

Из живота под рёбра и дальше по гортани к затылку поднимается горячий песок. Жжёт изнутри, распирает. Земля останавливается, время останавливается, сердце останавливается. Зависаю в красно-жёлтом мареве и

«Ш-ш-ш» - опадает песчаная волна, открывая дыхание. Рывком втягиваю воздух, кашляю, не могу остановиться.

- Ты чего, дым не переносишь? – удивляется Эмани.

Кашляю до слёз, до сухих рвотных спазмов. Будда ставит передо мной стакан:

- Выпей, легче станет.

Цепляю гладкое стекло скрюченной клешней, припадаю, толчками вливаю холодную воду в саднящее горло. Заливаю огонь. Осознаю.

Будда не трепещет от кружевных прелестей Эмани, потому что её раздетость для него не откровение. Не загадка, не чужая территория. И прикосновения их естественны, потому что привычны. Они курят одну сигарету на двоих, пьют из одной чашки, спят на одной подушке. Вместе. Их сдвоенность можно пощупать, они одинаково пахнут. А я сижу на шатком кривоногом стуле посреди их общего царства, словно надоедливая оборванка. Оббиваю порог, докучаю. Они терпят меня, пока ещё смиряются. Но однажды Эмани поймёт, что Будда стал мягче пластилина, и укажет мне на дверь. Скоро. И он не будет протестовать, даже вздохнёт с облегчением.

Не надо, я сама.

Трудно встать и идти, если ты не человек, а мешок с песком. Но я справляюсь. Выдавливаю:

- Рада за вас.

- Что? – переспрашивает Эмани.

- Всё. Теперь всё.

Ноги в ботинки, пальто в охапку. Нащупываю дверную ручку, вываливаюсь в подъезд. А там по стеночке на лестницу, чтобы присесть на ступеньку и перевести дух.

Вот и закончилось. Дальше добровольная глухо-слепота не прокатит. Успела уйти за секунду до того, как вышвырнули, уже неплохо. А теперь успокойся, перетерпи ломку и никогда не возвращайся. Они собираются на сейшен, значит, сейчас пойдут к лифту и увидят раздавленную тебя. Нельзя! Слишком унижительно!

Лестница, стены, пол помогают мне, подгоняют, выталкивают. Противные щербатые перила, мерзкие кошачьи миски и консервные банки между этажами, пакостный запах дырявых канализационных труб из подвала. Где всё это было раньше, почему я не замечала?

Новый орган - третий глаз - таращится с моего лба. Прикрывать чёлкой бесполезно, он словно рентгеновский луч, лазерная бритва. Почему-то вспоминаю Фигу и её слова тогда, в туалете: «Ничего страшного, поплачьте. Сильные люди тоже плачут, а потом делают выводы». Всё правильно, хватит себе врать, мечта о Будде ничем не отличается от любования портретом голливудской звезды. «Любовь – это только лицо на стене, любовь – это взгляд с экрана». Фантазия. Морок. Мне нужен живой человек, настоящий обычный человек, и на ум идёт только один адрес.

Рифлёные каблуки стучат по асфальту, кровь ударяет в виски. Бей пяткой, бей другой, смотри на покачивающиеся концы шнурков. Через бетонный лес однотипных панелек, мимо гомонящей детской площадки, вдоль потока замызганных машин на проспекте, по аккуратной разметке дорожной зебры в кирпичные лабиринты старого фонда. Спешу. Неси своё желание обрести опору, ищи того, кто не бросит.

Я скажу ему. Сразу скажу. Скажу:

- Джим, ты мне нужен!

- Здорово, - улыбается он. – Только я сейчас немного...

- Нет, сейчас! Я не могу ждать. Я должна рассказать, или свихнусь.

- погоди секунду.

Он тянется к вешалке, набрасывает куртку, выходит в подъезд и тихонько прикрывает дверь. В тёмных глазах – беспокойство. Мне хочется поднять руку и скользнуть кончиками пальцев по его смуглой коже, потереться щекой о щеку, зарыться лицом в смоляные волосы, спрятаться.

- Обними меня. Пожалуйста.

Джим обнимает, прижимает к себе, легонько гладит по голове. Но зажато и торопливо. Будто мы стоим на вокзале, и вот-вот тронется его поезд, а ещё нужно успеть в киоск за минералкой.

- Давай я забегу к тебе вечером, - предлагает он.

- Уже вечер.

Джим отступает на шаг, и я начинаю говорить, чтобы удержать его. Слова насканивают друг на друга, спотыкаются, валятся в кучу:

- Дай мне совет, как скажешь, так и сделаю. Я случайно узнала чужую тайну, очень важную и для меня тоже. И должна рассказать об этом, но могу напортить. Она, тот человек, уже много дней отмалчивается, а время уходит, и если оставить на самотёк и не сделать одну отвратительную вещь, то будет поздно и...

- Руслан, в чём дело?

Из дверного проёма смотрит мать Джима. Высокая, узкая, гладко зачесанная дама с металлическим голосом и скорбной морщинкой над переносицей. Джим вздрагивает, я отпрыгиваю от него, как ошпаренная кошка.

- Ох, здравствуйте.

- У Руслана репетитор, встретитесь позже, - чеканит она, глядя на меня сверху вниз.

- Минуту, мам, - просит Джим, - Аля уже уходит.

«Я предупреждал, видишь, что ты наделала», - слышу я. А ещё мольбу не усложнять и вежливо удалиться.

- Но... да, ухожу. Я только хотела отдать шарф.

Сдёргиваю с шеи красную удавку, комкаю, с силой вкладываю в руку Джима.

- Ты одолжил на концерте, помнишь? Вот, возвращаю. Теперь не придётся ехать ко мне. Удобно, правда? До свидания!

- Зачем, это подарок! – кричит Джим вслед. Но не отвечаю.

Прыгаю через две ступеньки, несусь по улице, и чувствую пружину внутри. Она покачивает меня, подбрасывает, делает стремительной.

Когда-то давно читала, что в древней Спарте к ногам воинов привязывали камни. Тренировки и бег с лишним весом делали солдат выносливыми, а после, в бою, они становились во много раз сильнее и быстрее без этого груза. Я сбросила свои камни. Или камни избавились от меня, как знать. И хоть часто сплёвываю горькую кипящую слюну, и слепну от обиды, но понимаю, что так лучше. Легче. Узлы развязаны, не за что хвататься, дальше - одна. Без оправданий и ложных надежд. Я – только я. Я – девочка в шаре. Я знаю, куда плыть, а значит, не утону.

В компьютерном салоне снова война. Малолетки гоняют нарисованных солдат, взрывают бомбы и верещат на все лады. Андрей отгородился наушниками-пуговками и бешено печатает. Мне приходится потрясти его за костлявое плечо, чтобы привлечь внимание.

- А? Кто? – вскидывается он. Кликает мышкой и сворачивает вордовский документ, оставляя пустой тёмный экран.

- Привет. Можешь закрыть салон и проводить меня кое-куда? – спрашиваю.

- Куда?

- К твоей тётке, или кто она тебе? В дом ребёнка.

- Зачем?

- Долго объяснять. Просто это необходимо, понимаешь?

- Нет.

- Я тебя очень прошу. Закройся на один маленький час, что тебе стоит. Представь, что свет отключили или ещё что. Технический перерыв.

- А эти? – он показывает на орущую мелкоту.

- Им долго ещё? Когда время кончится?

Андрей хмурится, листает толстую тетрадку, заляпанную кофе.

- Двадцать минут.

- Я подожду.

- Слушай, давай не сегодня. Не горит же.

- Мне на колени встать?

- Ладно, понял, жди. За комп пойдёшь?

- Нет, незачем, - я ловлю своё мутное нечёткое отражение в мониторе. – У тебя ножницы есть?

- Где-то были.

- Давай.

Пацанята доигрывают, хотят продлить, возмущаются, но Андрей непреклонен. Время вышло, компы перегрелись, все вон. Они нехотя натягивают куртки и шапки, я подгоняю.

- Ой, чё вам невтерпёж, да? – ехидничает лопоухий шимпанзе постарше.

- Вали уже, - отвечаю.

Андрей обходит полуподвальчик, отключает компьютеры, задвигает клавиатуры. Я возвращаю ему ножницы.

- Зря ты, раньше лучше было, - говорит он.

- Это только кажется - отвечаю.

На улице идёт снег. Вот полчаса назад не было, а теперь небо опадает тяжёлыми крупными хлопьями. Мир ещё тонет в жидкой нахоженной грязи, но совсем скоро станет чистым и невинным. Я подставляю ладони, удивляясь собственной радости, оглядываюсь на Андрея:

- Снег!

- Ну да, давно пора. Давай на остановку, некогда любоваться.

Но я люблюсь. Кружусь на месте, дёргаю Андрея за полу пуховика. Ну, улыбнись, разве ты не чувствуешь щекотку в горле, это же снег! Настоящий, долгий. Он окутает нас безмолвием, заскрипит, как до блеска отмытая тарелка, засыплет окурки, плевки и прочий мусор, засияет бриллиантовой крошкой. Это начало. Начало чего-то большого, долгожданного! Скоро новое тысячелетие, ты помнишь? Скоро всё изменится!

- Ты сумасшедшая, - сдаётся он и ловит снежинку ртом. – Пойдём.

И мы идём.

Андрей нетерпеливо топчется возле калитки:

- Ну что там?

Нарезаю круги возле припаркованной у забора иномарки. Похожа, но надо знать наверняка. У меня туго с машинами: мозг отказывается отличать Ауди от Шевроле и тому подобного. Тут всё просто: если едет, то хорошая. Ну и цвет я в состоянии запомнить. Эта – серая. Сбиваю снег с ветрового стекла, рассматриваю знакомую иконку под зеркалом заднего вида, да, она.

Оглядываюсь на Андрея, на жёлтый дом за его спиной. Плюгавенький мужичок чистит снег широкой лопатой. От калитки и до крыльца, так, что полосами проглядывают тёмные проплешины асфальта. А детскую площадку уже занесло, кому она теперь нужна? Белые нетронутые бугорки под тополиными обрубками.

- Слушай, - говорю, - нам туда не надо. Ты, если хочешь, возвращайся в салон, а я подожду хозяина машины.

- Замечательно! – сердится Андрей. – Ты всегда такая последовательная?

- Прости.

Усаживаюсь на бордюр, присыпанный снегом. Если бы Ма увидела, отругала бы по полной программе. Потому что застужусь. Но когда я слушала Ма?

- И долго собираешься здесь торчать? – Андрей смотрит на часы. - У меня рабочий день в самом разгаре вообще-то.

- Сколько понадобится. А ты не жди, правда.

- Десять минут, - говорит он и приземляется рядом.

- И чего ты меня караулишь?

- Ты - маленькая слабая девочка. А я большой и сильный. Разве непонятно?

- Рыцарь?

- Угу, рыцарь.

Да уж, защитник, повезло - так повезло. Хилый ботан, соплёй перешибёшь. Но ведь и я на прекрасную даму не тяну. Так, забавное недоразумение.

- А кого ждём? – интересуется Андрей.

- Его.

Отец стоит у дверей с тёткой Андрея. Он уходит, она – провожает. Отсюда не слышно, что она втолковывает, но лицо оживлённое - не унылая морда усталой цирковой лошади, какая была в прошлый раз. Он несколько раз кивает, наверняка благодарит. Она скрывается в здании, и отец спешит в нашу сторону. На ходу достаёт из кармана ключи от машины, мобильник, подносит его к уху и резко останавливается. Потому что увидел нас. Меня. Поднимаюсь навстречу, для верности машу рукой. Бегство невозможно, папа. Ты попался.

- А ты что здесь делаешь? – подчёркнуто дружелюбно выдаёт отец, подходя к машине. Бодрится. Немного удивлён, немного рад, и всё у нас хорошо и весело.

- С другом гуляю, - веду подбородком в сторону Андрея.

- Андрей, - протягивает руку тот.

- Дмитрий.

Такая обычная вещь – мужское рукопожатие, но ни Будда, ни Джим, ни кто-то другой из наших, даже не подумали хоть раз поздороваться с отцом за руку. Потому что он из категории родителей, а значит, чужаков. Наверное. Я раньше не размышляла об этом.

- Аля, мне кажется, или он простоват для тебя? – отец продолжает изображать шутника-балагура. - Где шипы, заклёпки, собачий ошейник? Андрей, может быть, у вас вся спина татуировками забита?

- Нет, - картинно вздыхает мой рыцарь, - знаете, я боли боюсь. Но это секрет, не говорите Але.

- Не скажу.

- Пап, Андрею на работу надо. Он меня провожал по делу, а тут ты. Давай его подвезём?

- Без проблем, - отец суетится, да и я не лучше.

Мы словно актёры из сериала про туповатую семью, в которой все вечно попадают в неудобное положение. И Андрей неплохо вписывается в сценарий. Он молодец - всю дорогу поддерживает наш неестественно благодушный трёп, а напоследок обещает зайти в гости.

Когда мы остаёмся одни, отец съёживается и тускло спрашивает:

- Полагаю, вы гуляли там не случайно? Да?

- Да.

- Много знаешь?

Смотрю с заднего сиденья на его затылок:

- Всё.

- Откуда?

- Вытащила документы из её сумочки. Результаты анализов. А ты?

- Тёща позвонила. То есть, твоя бабушка. Ну, ты поняла.

- Ещё как поняла. Читала про... это. И в дом ребёнка уже ходила, раньше, там родственница Андрея работает.

Отец резко поворачивается, его глаза блестят, как стеклянные:

- И что думаешь?

- Я уже замучилась думать.

- Я тоже.

Он опускает стекло и закуривает. Пепел летит в салон, на драгоценные светло-бежевые чехлы, но отец не отряхивает, даже не замечает.

- Может, цветов ей купить?

Только этого не хватало. Прошлые букеты до сих пор стоят в вазах. Иссохшие трупики праздников.

- Нет, - говорю. – Повод не тот.

Он не спорит. Щелчком отправляет в сугроб обугленный фильтр и тоскливо спрашивает:

- Домой?

- Домой.

«От голода и ветра, от холодного ума, от электрического смеха, безусловного рефлекса, от всех рождений и смертей, перерождений и смертей, перерождений - домой!» - беснуется Янка в моей голове. Она как всегда в теме: плюс на минус даёт освобождение. Нам всем пора домой.

Я боялась, что Ма расплачется. Взрослые редко плачут, во всяком случае, при детях. Но если это происходит, то становится ясно – дело плохо. Не просто плохо – кошмарно. Непоправимо. Материнские слёзы вмуровывают ребёнка в железобетон, где он корчится от страха и бессилия. Даже большого ребёнка. Но у Ма нет слёз.

Сидим за ненакрытым столом под дизайнерским абажуром из матового стекла и бронзы. Семейный треугольник, где каждый – вершина. Пялимся на столешницу, цепляясь взглядами за щербинки и царапины, в которых виноваты швейцарские ножи и моя нелюбовь

к разделочным доскам. Медицинские бумажки Ма вскрытым прикупом лежат в центре. Выигравших нет.

Ма сказала отцу, что он был прав. Что возраст имеет значение. Но она надеялась, тянула, хотела сделать дополнительные тесты. А теперь младенец вырос. Он толкается в животе. Или она – девочка в собственной сфере, в личном космосе. Теперь поздно что-то менять, а результаты исследований на синдром те же. Есть последнее средство – искусственные роды, но ребёнок толкается, понимаете, можно приложить ладонь и он ответит. Поэтому выбора нет: в любом случае - погребение. Или собственное будущее хоронить, или младенца.

Ма сказала это громко и отчётливо, глядя на отца в упор. Она вымоталась, ей всё равно. Но отец своё получил, Ма всё ему выложила без прикрас. Так бьют профессионалы – точными скупыми движениями, без широкого замаха и оттяжки - силы почти не расходуются, но у противника никаких шансов дать сдачи или хотя бы прикрыться.

Ма видит отца главным врагом. Это он ушёл, не желая ребёнка. Он бросит её теперь. А я хоть и статист, который чуть важнее мебели, понимаю, что она не так уж заблуждается. Всё это время горе выедало Ма изнутри, отец видел, знал причину, но трусил. Оставлял для себя лазейку. Каждый день мысленно укладывал вещи в большую спортивную сумку, и, возможно, делает это сейчас.

Он поднимается, достаёт из шкафчика початую бутылку коньяка, щедро наливает в стакан. Вопросительно смотрит на меня. Что?! С ума сошёл?! Не буду! Как хочешь - пожимает плечами отец, глотает, давится, а после уходит курить на балкон.

Ма вросла в стул. Ни жеста, ни взгляда. Она – гранитный памятник самой себе. Постаревшая, неухоженная, с отросшими седыми прядями в волосах, с дряблой авитаминозной кожей и потрескавшимися губами. Лоск слетел, как позолота с дешёвой китайской побрякушки, но взамен появилась тихая глубинная сила. Скрытая мощь. Так бывает с теми, кому нечего терять.

Мы слушаем тиканье настенных часов и мысли друг друга, ожидая вердикт отца. Когда он возвращается в кухню, ступни обжигает быстрый морозный сквозняк. Я поджимаю пальцы ног. Балконная дверь захлопывается, звякает щеколда. Отец шумно двигает табурет, занимая позицию перед Ма.

- Наташа. Наташа, посмотри на меня, - мягко просит он.

Ма поднимает глаза.

- Все эти тесты не обязательно правильные. Я узнавал. Всегда есть надежда.

- Хватит, - голос Ма похож на шелест, что преследует меня уже несколько дней. – Надоело. Прекрати делать вид, что проблемы нет. Она есть!

- Ладно, - соглашается отец, - хорошо, допустим, у нас родится даун, и что с того?

- Мог бы и про это поузнавать.

- Про болезнь? Естественно. С такими детьми непросто, но люди живут, воспитывают, как-то справляются.

- Вот именно, как-то, - Ма начинает злиться.

- Не такое трудное дело, - отмахивается отец. - Пелёнки-распашонки. У нас Аля здоровая, мои сыновья уже своих детей имеют, мы не обижены. Ну, будет теперь другой ребёнок, но ребёнок же. И садики есть специальные, и школы. Дети с дауном не самые умные, да, но хорошие, добрые, и...

- Это позор!

Отец сбивается. Зря готовил позитивные аргументы, напрасно целую речь сочинил на балконе.

- Почему?

- Потому что больные дети рождаются только у неполноценных родителей.

- Ты же понимаешь, что это бред.

- Какая разница, что я понимаю? Другим не докажешь. Мы станем хуже прокажённых. Только не надо меня разубеждать. Какие садики и школы? Мы на прогулку ребёнка вывести не сможем, чтобы кто-то косо не посмотрел. К нему не то что своих здоровых детей, собак не подпустят! Или это тоже бред?

- Мне плевать, на идиотов не обижаюсь.

- Это ты сейчас говоришь, а как надоест изображать добренького, смоешься. Ты с самого начала его не хотел.

- У меня было время подумать. Теперь хочу. Я старый, Наташа, и разочарованный. Меня уже ничем не удивить. Ни желаний, ни интересов. А что будет через пять, десять лет? Пенсия, и что? Сканворды и телек? Или дачу купим? Хотя, дача – это неплохо. Оставим Альке квартиру, переберёмся с маленьким за город.

- Ты старый, - соглашается Ма, срывается на последнем звуке, замолкает.

- Вот, хоть в чём-то мы единомышленны, - пытается пошутить отец.

- Ты старый, - повторяет она, – и я старая. Такой ребёнок не вырастет самостоятельным. Кто будет его опекать, когда мы не сможем?

И тут барабанная дробь, фанфары, и вступаю я. Должна вступить. Вспомнить юных героев из советских книжек, пообещать поднятую целину, гражданский подвиг и своё пламенное сердце в придачу. Не сомневайтесь, дорогие родители, я положу все силы на этого ребёнка, стану ему ангелом-хранителем и феей-крёстной в одном лице, не отдам, не предам, не покину! И выйдет солнце, и придёт весна, и мы побежим по росистой траве навстречу прекрасному будущему. А теперь давайте пить чай с бубликами и хвалить друг друга.

Нет, простите. Я не знаю, как оно будет. Мне бы с собой разобраться. Удачи вам. А меня не трогайте.

- Ты куда? – спрашивает отец. – Ничего не скажешь?

- А что ты хочешь услышать?

- Твоё мнение.

- О чём?

Отец разводит руками, ищет поддержки у Ма, но без толку. До чего они оба жалкие. И я не лучше. В сущности, чем я отличаюсь от отца? Он готов нас бросить, но и я вечно убегая. Говорят другие, решают другие, живут вместо меня тоже другие. А я лишь наблюдаю. Никто. Нет.

Собираюсь с мыслями, слушаю вкрадчивое «ш-ш-ш» за висками. Это море. Спокойное крымское море лижет песок. А дальше черешневый сад, и каждая ягода - с кулак. Только мне туда пока не добраться, я слишком далеко, но однажды и мой плот прибьёт к берегу. Обязательно.

- Слушайте, я, может быть, жестокая и бесчувственная, но это ваши проблемы, - говорю, – разбирайтесь сами. Сами напортачили, вот и расхлёбывайте теперь. И не надейтесь, что я стану вроде няньки. Не стану. Но мне этот ребёнок не мешает. И я думаю, что смогу его любить. Не уверена, но... не такие они и страшные, эти даунята. Вполне обычные дети. А другие люди, которые будут пальцами тыкать, мне вообще до лампочки. Я же из придурочных панков, да? И немало ерунды в свой адрес наслушалась. Ничего, не умерла. Пусть любую чушь говорят, нам-то что. Вот. Моё мнение.

- Ясно, - говорит отец, - спасибо и на этом.

А Ма пристально смотрит, впервые за много дней смотрит именно на меня.

- Ты что с собой сделала? – спрашивает.

- В смысле?

- С волосами.

- А, это, - мои пальцы безотчётно хватают и теребят короткую неровную прядь надо лбом. - Постригла чёлку.

- Канцелярским ножом кромсала?

- Вроде того. Не нравится?

- Жуткое уродство.

Вот так просто и ненавязчиво вернулась прежняя тактичная Ма.

- Возьму у тебя деньги и пойду в парикмахерскую, - говорю. – Сейчас и пойду.

- Правильно, - соглашается она. – И хлеба купи.

Да хоть цветочек аленький. А вы дальше сами, вам полезно пореветь без свидетелей. И не лукавьте, что взрослые не ревут. Потому что нет никаких взрослых, не существует. Всем одинаково страшно и тошно. И да, Ма, ты верно сказала: всем надо кого-то любить. Иначе просыпаться по утрам незачем. Такие дела.

40

Плейер вращает диск, ботинки шагают по рыхлому снегу. И всё белое вокруг, белое-белое, и словно облака надеты на кроны деревьев, и под ногами – облака.

А ботинки у меня замечательные, это да. Держу ритм ударных, прокладываю курс наугад, без цели и ориентиров. Улыбаюсь как безумная. Это ведь чудо – носить музыку в кармане. Нацепила наушники, и кто-то важный и знаменитый поёт только для тебя. А может, его на свете давно нет, но в твоих ушах - есть. Не просто голос, но и сам человек. Законсервированный кусочек его существования, прожитый в студии или на концерте, когда делалась эта запись. Мой плейер – хранилище времени. Чужого времени, в котором меня не было, но которое принадлежит мне.

А парикмахерские мимо, да здравствует великолепное уродство, славься мир открытого лба и ясного взгляда. Нет у меня настроения лезть в неудобное кресло, глотать синтетические ароматы, терять день, снег и движение. Но кое-что полезное я всё же сегодня сделала. Распахнула дома окна перед тем, как уйти. А ещё собрала по комнатам все иссохшие цветочные веники и отволокла в мусоропровод. Несла, а они сопротивлялись - облетали, ломались, крошились. Прошлое всегда сопротивляется. И Ма будет злиться, выметая дорожку из ломких бурых лепестков и скрученных листьев, но ей не впервой, переживёт.

Я не собиралась выходить на круг почёта. Вот ни на секунду. Но как-то неожиданно очутилась на перекрёстке возле узкой кирпичной десятиэтажки. Обычно Будда нажимал на

кнопки домофона, они вспыхивали красным цветом, и электронный голос спрашивал: «кто там?» Я плаксиво отвечала, что не могу попасть домой. И ведь правда не могла.

Люди придавлены к земле и не смотрят на крыши. И я бы не посмотрела, если бы эта не была особенной. Хотя, таковой её делали мы. А память истреплется пакетиком на ветру. Тем, что зацепился за столб, но однажды сорвётся и ищи его свищи.

И мне пора.

Окно Будды укрыто цветастой занавеской. Раньше её не было. Чья вина, что я отказывалась замечать, как жилище золотого Шакъямуни теряет лицо за тряпочками, ковриками, новыми губками для мытья посуды и прочей мелочёвкой. Как размножаются в ванной баночки и тюбики, как появляются цветочные горшки на подоконниках. Понемногу, давая к себе привыкнуть, усыпляя бдительность малыми размерами. Бабка Будды наверняка довольна. Да и сам он вряд ли жалуется. Нет, я не гожусь на роль мамочки, а Эмани – вполне. Умница Эмани, так ему и надо.

Дом Тим Саныча обхожу по широкой дуге. Смотрю издали. Он словно присел и глухо рычит, этот дом. И тянет гнилью из его пасти-арки, и горестно скрипят железные детские качели за углом. Нет, мне слишком хорошо сегодня, не желаю быть съеденной. Утешайся пластинками и аквариумом с богомолами пока можешь, бойся, что за тобой придут. Потому что обязательно придут.

Лысый обзавёлся белыми снежными кудрями, снег же прикрыл пятна голубиного помёта на его плечах. У постамента скучает одинокий милиционер, наших не видно. Зачем я здесь? Если бы кто-то спросил, куда я хочу пойти, то, наверное, к школе. Дичь конечно, но совестно перед Фигой. Я ведь тогда по-хамски развернулась и ушла. А теперь чувствую себя обязанной. Должна показать ей, что благодарна. Что уважаю. Даже знаю один простой способ: скромная юбка и сменные туфли. Но я поищу другие варианты. Не сегодня, не завтра, но скоро.

Плейер вращает диск, ноги несут вперёд, и я им не указ.

На подходе к Колесу замедляюсь, почти крадусь. Будто сейчас вспыхнут софиты и высветят меня – дурёху, которая забрела на сцену, но не знает роль. Самозванку. И никто не подаст руки, не признает своей. Иду по главной аллее, мысленно ругая ослабевшие колени, и боковым зрением различаю толпу наших чуть в стороне. Среди них может быть Спринга. Джим. Будда и Эмани. Нет, больше не хочу, не поверну голову. Не поверну-не поверну-не поверну. Она сама.

Джим здесь. Машет, что-то кричит, но я упрямо не замечаю. Руки в карманах, спина прямая, нос по ветру. Ты сможешь, ты - пехотинец. Пересекаю сквер, пробиваю его насквозь, вынырываю с другой стороны. И боюсь оглянуться.

Дайте мне несколько дней зализать раны, и, может быть, вернусь. Или нет. Я могу и дальше быть с вами, а могу всякий раз идти мимо. Как пожелаю. Я вообще всё могу. И школу закончу, и уеду, и буду путешествовать, и никто мне не запретит. Перестану вымучивать интерес к «Степному волку», а если спросят, спокойно отвечу: «Бросила, не понравилось». Честно скажу, что не перевариваю хэви-металл. Вставлю в мочки ушей обычные серьги. Запомню имена одноклассников, хотя, не факт. Скажу отцу, что дача – это круто. Куплю Андрею банку нормального кофе. А он всё равно украдкой от меня будет разводить пакетированный. И ладно. Пойду в кино на глупейшую сиропную мелодраму. Одна. Сяду в первый ряд и расплачусь на сцене поцелуя. И стану мечтать о таком же поцелуе, но вот об этом никому не скажу. Да.

«Я очнулся рано утром, я увидел небо в открытую дверь / это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить» - течёт из наушников живая вода.

Шар наполняется ею. Раздувается. Лопается. И девочка шагает из него. И переходит на бег. Бежит – не догнать. Бежит, и длинное чёрное её пальто распахивается. Бежит, и с силой отталкивается от земли. Бежит, чтобы лететь.

«Бог, ты здесь?»

«Здесь».

«Я умница?»

«Ещё нет, но идёшь в нужную сторону».

«Значит, всё хорошо?»

«Замечательно».

«Бог, ты классный».

«А то!»

И он смеётся. И я смеюсь. И мы смеемся вместе.

Комментарии

«Панихида по апрелю состоялась в сентябре – плакали трамваи на изгибах рельсов...» - первая строчка песни Ольги Арефьевой и группы «Ковчег», альбом «Девочка-скерцо», 1998 год.

«Маленькая девочка со взглядом волчицы» - «Маленькая девочка» - песня Армена Григоряна и группы «Крематорий», альбом «Иллюзорный мир», 1985 год.

«Грибоедовский вальс» - песня Александра Башлачёва, альбом «VII» 1988 год.

Гриндерсы – тяжеловесная массивная обувь производства фирмы «Grinders».

Хайратник хиппи – повязка вокруг головы, часто кожаный ремешок.

5

«Но женщины - те, что могли быть как сёстры, - красят ядом рабочую плоскость ногтей» - строчка из песни «Электрический пёс» Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», альбом «Синий альбом», 1981 год.

6

«Делай свободный полёт, делай со мной,

Если захочешь, я буду тебе войной,

Если попросишь, я научусь воскресать для того, чтобы снова увидеть тебя» - песня, придуманная автором.

«Иду в поход, два ангела вперёд, один душу спасает, другой тело бережёт» - строчка из песни «Поход» Сергея Чигракова и группы «Чиж&Со», альбом «Перекрёсток», 1995 год.

«...он напевает про колокольчик в моих волосах что звучит соль-диезом» - речь о песне «Полонез» Сергея Чигракова и группы «Чиж&Со», альбом «Полонез», 1996 год.

7

«Наши разбредлись по флэтам» - флэт - квартира, дача, другое помещение, где может собраться большая компания.

8

Андеграунд – от английского «под землёй», «подполье» - направления современного искусства, которые противопоставляют себя массовой культуре. Независимые или запрещённые цензурой произведения искусства.

«...я уже неплохо лабаю на басу» - неплохо играю на бас-гитаре.

«Джим тихонько затягивет про то, что лиц не видно, виден лишь дым за искрами папирос» - речь о песне «Театр теней» Константина Кинчева и группы «Алиса», альбом «Шестой лесничий», 1989 год.

11

«Блондиночка держит её в руке, аскает мелочь...» - аск, аскасть – просить деньги у прохожих.

«Он добывает ДДТшную «В мои четыре окна» - песня «Четыре окна» Юрия Шевчука и группы «ДДТ», альбом «Это всё...», 1994 год.

«Ну конечно, «Группа крови на рукаве – мой порядковый номер на рукаве», кто бы сомневался» - песня «Группа крови» Виктора Цоя и группы «Кино», альбом «Группа крови», 1988 год.

12

«Это покруче сейшенов» - сейшен – вечеринка, тусовка, концерт.

13

«...и радостно спели под три аккорда и баррэ Джима про то, что будем жить с ней в маленькой хижине на берегу очень тихой реки» - речь о песне «На берегу безымянной реки» Вячеслава Бутусова и группы «Nautilus Pompilius», альбом «Чужая земля», 1992 год.

«Нелепая гармония пустого шара наполнит промежутки мёртвой водой,
через заснеженные комнаты и дым протянет палец и покажет нам на двери,
и отсюда домой!» - первые строчки песни Янки Дягилевой «Домой!», альбом «Домой!», 1995 год.

16

«Ботинки на мне замечательные, да-а-а... В них топать и топать, топать и топать, топать и топать... Плывут, плывут, плывут в оцепененье чувств» - начало повести Григоря Салтупа «Карьера дворника». В ней рассказывается о бездомном художнике, который работает дворником в Доме ребёнка. Издана в 1990 году, Петрозаводск «Карелия».

19

«Молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли!» - речь о песне Бориса Гребенщикова «Герои рок-н-ролла» (Молодая шпана), альбом «Синий альбом», 1981 год.

21

«Я исполняю танец на цыпочках, который танцуют все девочки» - песня Насти Полевой «Танец на цыпочках» из одноимённого альбома, 1994 год.

22

«Эй, ямщик, поворачивай к чёрту, новой дорогой поедem домой!» - песня Гарика Сукачёва и группы «Бригада С», - «Дорожная», альбом «Реки», 1993 год.

«Ма устaвилась на портрет Легенды на его балахоне и на ярко-красную надпись: «Дурень» – один из альбомов группы «Алиса» называется «Дурень».

24

«Вот шахматный король, а вот бубновый туз, скажи мне кто из них победит» - песня «Картонный дом» Константина Кинчева и группы «Алиса», альбом «Jazz», 1996 год.

29

«...на одном берегу умирает чёрный стерх, на другом – танцует белый лебедь, а сердце в тисках» - речь о песне «Стерх и лебедь» группы «Ночные снайперы», альбом «Детский лепет», 1999 год.

31

«По перекошенным ртам, продравшим веки кротам, видна ошибка роста» - первые строчки песни Янки Дягилевой «Особый резон», альбом «Домой!», 1989 год.

34

«Любовь – это только лицо на стене, любовь – это взгляд с экрана» - песня «Взгляд с экрана» Вячеслава Бутусова и группы «Nautilus Pompilius», альбом «Разлука», 1986 год.

38

«От голода и ветра, от холодного ума, от электрического смеха, безусловного рефлекса, от всех рождений и смертей, перерождений и смертей, перерождений - домой!» и «плюс на минус даёт освобождение» - строчки из песни Янки Дягилевой «Домой!», одноимённый альбом, 1989 год.

40

«Я очнулся рано утром, я увидел небо в открытую дверь / это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить» - первые строчки песни «Доктор твоего тела» Вячеслава Бутусова и группы «Nautilus Pompilius», альбом «Князь тишины», 1989 год.